ский не возражал, но все же выразил серьезные сомнения:

— Старейшины киргизских родов — загадка не только для нас, чиновников управления, но и для самого Кунанбаева. Я совсем не уверен, что его друзья будут сильно отличаться от остальных… Вряд ли они повернут дело по-новому и дадут верное направление степной жизни. Если киргизская степь, бескрайная и загадочная, действительно такая, какой я ее знаю, — трудностей и тут будет немало. А опыт — что ж, опыт сделать можно… — Он иронически усмехнулся и заключил — Итак, будем надеяться, что мы с Кунанбаевым годика через два убедимся в успехе нашего опыта. Не скажу, однако, чтобы сам я верил в это…

Через несколько дней Лосовский выехал на выборы. Абай с Ерболом двинулись вслед за ним в Кызылмола, отправив Баймагамбета на жайляу в аул с известиями о себе. С ним же пошла и подвода, добрая половина которой была завалена книгами, указанными Абаю Михайловым.

Лосовский выполнил свое обещание: все время выборов в Кзылмолинской, Коныр-Кокчинской и Чингизской волостях он держал Абая при себе и везде старался подымать его авторитет перед населением. Их везде принимали с почетом, ставили юрты, резали скот, готовили угощение — и все, кто собрался на выборы, видя Абая постоянно рядом с новым уездным начальником, убеждались, что на этот раз Абай вернулся из города, приобретя еще большее доверие и уважение начальства. Народ попросту считал его советником.

На выборах ни в одной из волостей не возникло споров о том, кому быть бием, кому волостным управителем, кому его заместителем: Абай везде предварительно советовался с честными и справедливыми людьми, после этого предлагал Лосовскому того или другого кандидата, и его предложения проходили повсюду.

Привыкнув по своему городскому опыту смотреть с недоверием на степных кочевников, Лосовский внимательно приглядывался к Абаю. Но тот вызывал в нем только чувство уважения, и за время этой почти месячной поездки Лосовский сблизился с ним. Порой он подшучивал над Абаем:

— Берегитесь, Ибрагим Кунанбаевич!.. Ведь выборы провожу не я, а вы, — я только слушаю ваши советы и утверждаю указанных вами людей. А что, если они, как и все прежние, тоже окажутся взяточниками, насильниками, будут составлять фальшивые приговоры, разжигать межродовую вражду?.. Как вы тогда посмотрите в глаза Михайлову и вашему другу Акбасу?..

Абай и так понимал свою огромную ответственность не только перед ними, но и перед народом, которому он стремился облегчить жизнь. Он добился избрания на должности волостных управителей троих молодых людей, о кандидатуре которых никто и не думал и которые сами не домогались назначения.

Для Чингизской волости Абай назвал своего друга, которого еще с самой ранней юности уважал за мягкий характер и человечность. Это был Асылбек, брат Тогжан. К великой досаде всех иргизбаев, а старшего их поколения в особенности, Асылбек был выбран на должность, на которой так властно хозяйничал Такежан.

В Коныр-Кокше Абай не допустил избрания богатого и честолюбивого Абена, стремившегося добиться должности взятками. Вместо него он назвал Лосовскому спокойного и понятливого жигита Шимырбая.

Волостным управителем Кзылмолинской волости он предложил избрать своего младшего брата Исхака. Абай видел в нем своего единомышленника. Исхак был сыном Кунанбая от Улжан, но Кунанбай с малолетства растил его у Кунке вместе с Кудайберды. Долгое время Исхак находился под влиянием Такежана, но в последние годы сблизился с Абаем, признав в нем справедливого старшего брата и искреннего друга. И Абай остановил на нем свой выбор, надеясь найти в нем верную опору.

Так закончилась начавшаяся в Ералы борьба Абая с властями. Народ считал, что в борьбе этой победил Абай, и имя его получило в степи еще большую известность.

ПО РЫТВИНАМ

1

Оо-о, Абай, эй, Абай!.. Пусть не будет тебе счастья… Бросил нас тут, в пустой степи, ни родных, ни близких кругом… И дом без хозяина, и жена без мужа, и дети без отца. Нет и нет тебя!.. Что мы тебе плохого сделали?.. И жару какую бог насылает— небо на землю валится! Облепили тут мухи наши глаза, разве здесь место для стоянки? С каждым днем все жарче да жарче… А все ты, Абай! Не будет тебе счастья, нет, не будет… Ой, за какие грехи мне такое мученье!..

Так причитала своим резким голосом Дильда, проходя по аулу. Продолжая браниться, она вошла в юрту Айгерим. Та была у себя одна и встретила Дильду как старшую, почтительно встав с места.

Дильда выглядела теперь уже пожилой женщиной. Худощавая, сварливая, беспокойная, она после частых родов начала быстро стареть. На ее лице появились морщины, резко выступили скулы; костлявая и жилистая смолоду, она казалась теперь совсем высохшей.

Ее появление в юрте Айгерим и то, что и при ней она продолжала честить Абая, совсем не вязалось с ее презрительным отношением к сопернице. Но нынче у Дильды была на то особая причина.

Манас, который вчера к ночи приехал из города, привез от Абая привет и известие, что он, вероятно, задержится там до конца лета. Сидя за угощением, он принялся осуждать Абая перед сбежавшимися в юрту Дильды соседями и слугами.

— Его старая мать послала меня в такую даль, приказала скакать день и ночь: «Извелся, наверное, сынок мой в неволе, узнай хоть, здоров ли он…» Я и сам думал, что он там мучается в тюрьме, мчался до города как угорелый. Какое там!.. Ничуть не бывало! Он, оказывается, уже свободен и живет себе в свое удовольствие!..

И Манас начал болтать о том, что видел. Сначала он сдерживал язык, боясь, что Дильда с ума начнет сходить от ревности, но вскоре заметил, что его рассказы о легкомыслии Абая доставляют ей даже некоторое удовольствие. Она слушала с явным любопытством и сама вынуждала жигита продолжать рассказ:

— Ничего не скрывай, дорогой, да сбудутся все твои желания… Рассказывай все, что видел и слышал, все, что было! Утаишь что-нибудь — перед богом ответишь!..

Тонкие чувства, возникающие во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, были недоступны Манасу, тупому и грубому. Увидев Абая и Салтанат в уединенной полутемной комнате с занавешенными окнами, он истолковал это по-своему. И теперь, попав на повод к Дильде, он наговорил много лишнего, кое-что присочинил от себя и под конец совсем заврался:

— Я Абая не обвиняю, хоть и ругнул его сгоряча тут же, при девушке… Не мог же я не думать о твоей обиде, келин! Да и почему бы мне было и не поругать его, кто ему там правду скажет? «В ауле, говорю, жена и дети ночей не спят, по тебе тоскуют, им и еда на ум нейдет, а ты тут наслаждаешься, дочку Альдеке обнимаешь?..» Так и сказал ему, уж очень обозлился…

Выпытав у Манаса все, что ей было нужно, и проводив его утром на жайляу, Дильда отправилась к Айгерим и там развязала язык.

Сначала Айгерим ничего не могла понять. Дильда была оживлена, порой даже смеялась и чуть не обнимала соперницу, что было совсем необычно. Айгерим недоумевала, что привело ее в такое радостное возбуждение. Наконец Дильда перешла к последней новости, не скрывая своего удовольствия и злорадства, смакуя подробности и еще больше раздувая сплетню, и без того преувеличенную Манасом.

Айгерим сидела, изнемогая от духоты и зноя. Услышав злые новости Дильды, она вдруг начала бледнеть, по телу ее пробежала холодная дрожь. Ей показалось, что ее по самому сердцу хлестнули тонкой плетью. Она схватила руку Дильды похолодевшими пальцами.

— Что вы говорите?.. Как вы сказали?.. — вся дрожа, прошептала она, бросившись к Дильде.

Она впилась глазами в ее лицо и вдруг замолкла. Гордость удержала слезы, готовые хлынуть потоком, и две крупные капли застыли, как льдинки, в уголках широко раскрытых глаз. Больше она не проронила ни звука, только милое ее лицо то вспыхивало, то бледнело до синевы, Как в обмороке.

Не отрывая от нее торжествующего взгляда, Дильда заговорила своим дребезжащим голосом. Тесно придвинувшись и прижав свои колени к коленям Айгерим, она продолжала с жаром:

— Ты только послушай, Айгерим… Главного я еще не сказала… Эта потаскуха-то, Салтанат, оказывается, прикатила в город на тройке гнедых мужа себе искать! Вот она и говорит Абаю: «Женись на мне, не знаешь, что ли, пословицы: «С кем согрешишь, с тем и очистись…» Как мне теперь людям в глаза смотреть, когда все знают, что я тебя даже из тюрьмы вытащила? Теперь меня и жених мой не возьмет! Не из таких я, чтоб ты меня бросил всем на посмеяние!..» А когда Абай ей ответил: «У меня же в ауле жена и дети есть!» — она опять на дыбы встала: «Твоя жена, говорит, мне не помеха! Грязнополая степная девка мне не ровня, она в мой дом с дровами войдет, с золой выйдет. А твоя пара — это я. По земле пришла — под землей не уйду! Ты на мне женишься! А пока — оставайся в городе все лето, нечего в аул возвращаться, я одна хочу наслаждаться счастьем!..» Мне-то что, Айгерим, я давно уже на него рукой махнула, а вот ты-то как!.. Изменник! Оставил нас тут, как нищих жатаков, зимовку строить, а сам-то! То-то я чуяла, что неспроста он в городе на все лето остался! Вот оно чем кончилось, пусть ему счастья не будет!..

И, высказав все, что могла, Дильда с торжествующим видом вышла. Темное облако спустилось на светлую юрту Айгерим. Проходили дни и недели, а Абай действительно все не возвращался в аул.

Закончив поездку с Лосовским, он приехал к матери в Большой аул. На жайляу его задержали больше двух недель: братья, матери и родные — все встретили его как дорогого гостя и не отпускали от себя. Он спешил и беспокоился, сильно тоскуя по Айгерим, но старался не показывать этого. Дишь когда они стали готовиться к перекочевке на склон Чингиза, Абай смог уехать в свой аул, о котором так соскучился. На этот раз с ним поехал только Баймагамбет— Ербол остался на жайляу до откочевки аулов на осенние пастбища.

Они выехали под вечер и за ночь перевалили через безлюдный хребет. Несмотря на жару и духоту, они не сходили с коней до самого полудня, пока не добрались до зимовки на Акшокы. Когда Абай уезжал весной, здесь были выведены только стены нового жилья. Теперь на одном из холмов Акшокы стояла большая постройка.

Подъехав к ней, они спешились и вошли в зимовку. Баймагамбет тотчас принялся расхваливать высоту стен и прочность крыш. Абай молча, не торопясь стал осматривать зимовку, начав с двух кладовок для хранения продуктов зимой и коптильни с вытяжной трубой, расположенных по правую сторону здания.

Постройкой руководили Айгерим и Оспан, но план ее — и жилых и надворных помещений — был дан самим Абаем. Он сам сделал чертеж со всеми подробностями, указав длину и ширину каждой комнаты и расположение дверей. Теперь он проверял каждую стенку, прикидывая размеры и восстанавливая в памяти свой чертеж. У Баймагамбета не хватало терпения сопровождать Абая в его неторопливом осмотре, он то и дело убегал вперед и возвращался к нему из других комнат, восхищаясь:

— Абай-ага, идите сюда, вот где замечательно! Настоящий городской дом! И потолок дощатый… А печь-то какая!

Абай пошел дальше. Осмотрев комнаты, которые расхваливал Баймагамбет, он и сам остался доволен. Лучшей комнатой в доме, светлой и просторной, оказалась большая угловая. Вход в нее вел через длинную переднюю. За угловой находилась маленькая комнатка, заканчивающая одно крыло дома. Абай и Айгерим предназначили их для Дильды с детьми и для муллы.

Осмотрев эту часть дома, Абай перешел в комнаты, ожидавшие его и Айгерим. По плану Абая дверь туда должна была вести из общей передней. Но оказалось, что Айгерим изменила план и прорубила дверь из своей комнаты в заново пристроенную с противоположной стороны вторую переднюю. Абай понял ее: ей не хотелось встречаться с Дильдой, и другой вход хоть и не очень, но все же обособлял их половину.

В доме, полном тени и прохлады, уставшее тело приятно отдыхало. В комнате Айгерим Абай задержался. Он мысленно выбрал место для супружеской кровати в углу возле печи и долго стоял в задумчивости, как бы видя перед собой отливающий то красным, то голубым шелковый занавес, который должен скрывать ее.

Баймагамбет продолжал суетливо бегать и скоро вернулся, успев осмотреть всю зимовку. Он оглядел помещения, назначенные для него и для других слуг, и остался ими очень доволен, Абай пошел за ним, обстоятельно осматривая все закоулки. У скотного двора были отдельные ворота, первым шло помещение для верблюдов, за ним коровник. С ним соединялись две большие овчарни с круглыми отдушинами в крыше и конюшня, длинная и высокая, с отдельным ходом. К жилым постройкам примыкал крытый сарай для хранения в летнее время саней и всякой хозяйственной утвари.

Закончив осмотр, Абай присел отдохнуть в тени высоких стен зимовки и шутливо сказал Баймагамбету:

— На наше счастье, нас с тобой и не коснулись все эти хлопоты… Молодец Айгерим, справилась с такой работой! — И он тут же поднялся на ноги. — Веди коней! Скорей домой!

Его вновь охватила тоска по Айгерим и детям. Баймагамбет долго не возвращался с конями, — напоив из колодца и стреножив, их пустили пастись возле зимовки, но они успели уйти довольно далеко, за холмы. Абай нетерпеливо ждал, досадуя на задержку и жадно вглядываясь в расстилавшуюся перед ним долину. Где-то там стоит его одинокий аул…

Его аул… Он не ушел со всеми на жайляу, он остался один в опустевшей долине. Вдали от шума общей жизни, он одиноко стоит среди пожелтевшей пустыни. Кругом спокойная широкая степь — желтая, безмолвная, глухая. Жаркий солнечный воздух волнуется над ней и колеблется, рождая неясные очертания. Абай старается найти в голубоватой дали место своего аула, но мираж играет перед его глазами множеством видений. Точно наперекор человеку, который считает степь пустой и необитаемой, мираж заполняет даль странными существами и предметами. Они говорят, что степь полна загадочной жизни. Но они обманывают. Мираж — как мечта: он из ничего рождает призрачное утешение. Вот кажется, будто в долине Ералы встал огромный город со множеством голубых куполов, вот синеют дворцы… И вдруг край этого города отрывается от земли и продолжает в небе свою призрачную жизнь. А что там? — не то стадо, не то заросли карагача… Множество легких теней двигаются то в одну, то в другую сторону, притягивают к себе взгляд, настойчиво зовут к себе, повторяя: «Сюда, я здесь!..»

«И мечта и мираж — как надежда: она так же непрерывно меняет свой облик, так же манит, играя и переливаясь перед глазами», — думает Абай. Он всматривается в эти легкие тени, околдовывающие и обманывающие человека, который так и остается одиноким в безлюдье. Но среди этого призрачного мира Абай все-таки видит свой маленький одинокий аул и с тоской и нежностью думает о своих малышах, о своей Айгерим, одинокой, молодой, любимой.

Высушенный за лето ковыль чуть слышно шелестит под слабым южным ветерком, поблескивая на солнце, как поверхность пологой волны. Она едва заметна для глаз — белое море лишь переливается из серебристого в желтое и темное, словно блестящая шелковая ткань. Ковыль уже принял свою осеннюю серебристую окраску, полынь слегка пожелтела, а степной курай, который весной выбрасывал зеленые кисти и синие цветы, стал красновато-бурым. Все говорит об утраченной силе, о минувшем счастье, о бессилии угасающей жизни. Абай внезапно почувствовал себя осиротевшим, одиноким и усталым. Мысль об одиночестве с особенной силой охватила его. Что-то больно кольнуло Абая в сердце. Его потянуло в аул, к людям, душа его переполнилась тоской и нежностью к ним.

В молчаливом раздумье Абай подводил итоги многим своим прежним размышлениям. «Измучен и несчастен казахский народ, чья родина — эта широкая безлюдная степь. Его одинокие аулы затеряны в громадной пустыне. И так — везде, везде, где живут казахи… Безлюдье вокруг. Нет постоянного, обжитого места. Нет кипящих жизнью городов. Народ разбросан по степи, словно жалкая горсть баурсаков, высыпанная скупой хозяйкой на широкую скатерть…»

В свой аул Абай приехал поздно, перед самым закатом. Навстречу путникам выбежали дети, взрослые встречали их возле юрт. Здороваясь, Абай все время взглядывал на Айгерим, взявшую повод его коня. Она казалась больной, исхудалой, лицо ее было непривычно бледно, словно кто-то задул, как светильник, нежный огонь румянца, особенно красивший ее. Абай поцеловал подбежавших к нему Абиша и Гульбадан, обнял Магаша и взял на руки маленького Тураша, сына Айгерим, необыкновенно похожего на мать. Расспросив Дильду о благополучии аула, Абай наконец поздоровался с Айгерим.

Он тщетно искал на ее лице обычную нежность, которая всегда радовала его стосковавшееся в разлуке сердце. Она не только похудела и осунулась, было видно, что ее угнетает какое-то большое горе. Войдя в юрту и переговариваясь с Кишкене-муллой, Дильдой и соседями, Абай тревожно посматривал на Айгерим. И без того бледная, она порой почти синела. Лишь иногда ее лицо вспыхивало мгновенным светом, который тут же потухал.

У Абая не хватало терпения ждать дольше и, увидев, что Айгерим вдруг вся сжалась, точно от холода, едва сдерживая готовые брызнуть слезы, он негромко и полувопросительно окликнул ее:

— Взгляни-ка на меня, Айгерим?..

Они еще не сказали ни слова друг другу, но в этом заботливом и ласковом обращении Айгерим снова почувствовала обычное нежное внимание мужа. Она печально улыбнулась, как бы желая сказать: «Я рада и тому, что ты это заметил», — но слезы, душившие ее, помимо воли выступили на глазах светлыми жемчужинами.

— Что скажете, Абай? — повернулась она к нему. Абай вздрогнул и с тревогой вгляделся в ее глаза.

— Ты больна, Айгерим, милая? Что с тобой? У тебя в лице ни кровинки. Что случилось?

В ответ послышался скрипучий голос Дильды.

— Зачем спрашивать о болезни? — язвительно усмехнулась она. — Нас не болезнь здесь мучает, а горе. А причина— в самом тебе, Абай, сам должен знать… — И она снова зло рассмеялась.

Дильда всегда высказывала Абаю в глаза свое недовольство и обиду, но сейчас она говорила особенно резко. Значит, домашние обвиняли его в чем-то серьезном. Вероятно, ему ставили в вину то, что он не выехал из города сразу по окончании дела. Он сдержал себя, промолчал и продолжал разговор с мужчинами, стараясь не глядеть больше на Айгерим и Дильду.

Между Абаем и Айгерим до сих пор не было ни одной размолвки, ни одной обиды друг на друга. Всегда ее сердце было неизменно, ее любовь непоколебима. Чем бы это сердце ни было ранено нынче, обсуждать это при всех он не мог. Через силу он продолжал разговаривать с детьми и соседями о новом доме на зимовке.

Всю ночь, до самого рассвета, ни Абай, ни Айгерим не спали. Это была мучительная, тяжкая и горькая ночь. Ревность и обида глубоко проникли в душу Айгерим, и, едва успев остаться наедине с Абаем, она открыла ему рану своего сердца, коротко рассказав о том, что привез Манас, и разрыдалась.

— Как же это могло быть, как вы решились, Абай?! — повторяла она между судорогами рыданий, сотрясающими все ее тело. — Давно ли наш дом казался вам золотым дворцом счастья? А теперь вы сожгли мое сердце, не оживет оно больше! Слезы мои загасили свет этого дома… Нет излечения моей болезни… Не найдете вы слов, чтобы утешить меня, лучше молчите… Прошли мои дни!

Всю ночь она просидела у ног Абая в горьких рыданиях.

Взволнованно и горячо Абай пытался объяснить ей, что слова Манаса — глупая его догадка, ложь. Он успокаивал Айгерим, обнимая ее и ловя поцелуями ее слезы. Все было напрасно. Он с ужасом понял, что никакие его уверения не смогут успокоить ее. Ему стало страшно за будущее. Почва заколебалась под ним, он вдруг увидел тлеющие развалины своего счастья. Он сознавал это с тяжким замиранием сердца и долго лежал безмолвный и притихший.

Наступил бледный рассвет. Айгерим протяжно вздохнула, как умирающий, и глубокая обида непримиренного сердца вырвалась в горьких словах:

— Ох, пропади она пропадом, доля несчастной женщины! Прахом развейся! Что остается ей кроме горючих слез?.. Да что слезы? Пусть бы они лились у меня не только эту ночь, всю жизнь… Страшно другое: они смыли в моей душе все дорогое, все, чем была полна она для вас… Теперь ни мне, ни вам не о чем жалеть и не в чем раскаиваться… Молчать я не в силах — у меня никогда не было никакой тайны от вас, не смогу скрыть и сейчас: нет больше сердца в моем теле. Нет больше огня. Все погасло. Пусто внутри меня. Все смыли мои слезы.

Казалось, в эти слова Айгерим вложила все горе, накопившееся в ее душе: в них звучала безнадежность, покорность злой судьбе. Не такой знал Абай раньше свою красивую, смелую и гордую любимую. То, что она говорила сейчас, звучало как приговор. Она словно причитала по умершему счастью.

Абай испуганно приподнялся на локте и заглянул в глаза жены.

— Что ты сказала!.. Откажись от своих слов, оставь эти мысли! Мое прошлое чисто перед тобой, пожалей его! Я верю, что и будущее наше светло. Не жертвуй им, не губи словами нашего счастья! Возьми их назад, сейчас же возьми назад! — умолял он.

В слабом голубоватом свете лицо Айгерим казалось еще бледнее. Ничего не ответив на мольбы Абая, она поднялась с места, на котором просидела всю ночь напролет, и, закутавшись с головой в шелковый чапан, ушла в неясную мглу рассвета, вся в черном, с черным горем на сердце. В белой юрте Абай остался один.

Проходили дни, но Айгерим не менялась. Вспышка горя перешла в ней в безмолвное оцепенение. Абай ничем не мог рассеять его. Впервые возник между ними холод — и не исчезал.

Айгерим была для Абая и любимой женой и неоценимым верным другом. Этот непреодолимый холод, возникший между ними, мучил его, как незаживающая рана, как неизлечимая болезнь. Злая рука коварной сплетни убила их счастье. Причиной всему была одна Дильда. В первый раз в жизни Абай понял, что значит каяться в непоправимой ошибке. «Зачем я женился на Айгерим, не порвав с Дильдой, не отпустив ее?.. Как я мог это сделать?.. Чем я лучше других мужчин, невежественных, тупых, вероломных? Ну что ж, страдай теперь! Пей горький яд, ты сам, своей рукой влил его в свою жизнь, пей теперь!» — думал он в отчаянии.

Тяжкое сознание своих душевных ошибок все усиливалось в нем. Охваченный тоской одиночества, Абай круглые сутки проводил в юрте за книгами. Они стали необходимы ему, как дыхание, как воздух. Он прочел все, что привез из города, и отправил Баймагамбета в город к Кузьмичу. Тот прислал ему полный коржун новых книг.

Сама природа как бы отвечала безрадостному душевному состоянию Абая. Наступила суровая осень, над Ералы и Ойкодыком повисло беспросветное ненастье, дул холодный степной ветер, длинные ночи были пронизаны сыростью.

Аулы, чьи зимовки были расположены в ущельях Чингиза, прикочевали с летних жайляу на осенние пастбища в долину, где находилась стоянка Абая. Они густо расположились в ложбинах Ойкодыка и Акшокы, богатых травами и обильных ручейками и колодцами. Все старались подкормить скот на зиму.

Аул Абая все лето провел в полном одиночестве. Сейчас он был окружен множеством вернувшихся сородичей. Снова начались поездки в гости, взаимное угощение. Только Абай и Айгерим никуда не ездили. Они не выходили из юрты.

Абай, как отшельник-ученый, не подымал головы от книг. Казалось, осенний холод, охвативший природу, проник и в его душу. Было похоже, что и Абай примирился с судьбой, что и он тоже считает одиночество единственным оставшимся ему уделом, тяжелой, но уже привычной болезнью. Иногда под вечер он садился на коня и один, без всякой цели, объезжал пасущиеся стада, не возвращаясь до наступления полной темноты. Но порой, подъезжая к аулу, он ловил себя на мысли, что в юрте его кто-то ждет. Но кто?.. Он пытался ответить себе на это:

«Мне все кажется, что кто-то подойдет, рассеет этот мрак, затеплит в нем огонек надежды… Кто же это? Кого я жду?.. Айгерим? Может быть, ее сердце вернулось? Может быть, душа ее снова обратилась ко мне, радостная и улыбающаяся?.. — Но тут же он перебивал сам себя: — Нет… На это и не похоже… Она не стремится к тому, о чем я мечтаю… Кого же тогда я так жду?..»

И вдруг он догадался.

— Ербол! — вырвалось у него. — Приехал бы Ербол! Побыл бы хоть он со мной в мои печальные дни!..

В этот хмурый осенний вечер он почувствовал острую тоску о стойком, испытанном друге. Казалось, он впервые понял и оценил до конца, как дорога ему дружба Ербола. Ведь долгие годы они неразлучно шли по извилистому пути жизни, вместе терпели и жару и холод, вместе испытывали свое мужество; ни разу не омрачили дружбы размолвкой. Жизнь, пройденная ими, одинаково принадлежала им обоим, только в последнее время они стали разлучаться надолго то зимой, то летом.

Когда Абай женился на Айгерим, Ербол тоже справил свадьбу со своей Дамели, и его сынишка Смагул появился на свет в одно время с Турашем. Абай заботился о нуждах Ербола не меньше его самого. Долгое время аул Ербола во многом зависел от милости Суюндика и других сородичей. Теперь он имел хорошее стадо и в кочевке мог уже не тащиться за аулом Суюндика: Ербол объединил в самостоятельный аул семь хозяйств сородичей, окружавших светлую пятистворчатую юрту, где жила его семья. И молочного и тяглового скота у него теперь хватало, да кроме того, возвращаясь от Абая после длительной побывки, Ербол всякий раз пригонял подарок друга — то крупный, то мелкий скот.

Сейчас, когда Абай так тосковал о нем, Ербол жил на своей зимовке в Карашокы, оставшись в горах, чтобы заготовить корм для скота и оборудовать зимовку к холодам. Абай понимал удерживавшие его там нужды и заботы и терпеливо пережидал: он отлично знал, что, закончив хозяйственные хлопоты, Ербол приедет тотчас.

В своем далеком ущелье в Чингизе Ербол будто почувствовал, что друг его думает о нем и мечтает о его приезде. Однажды вечером, когда в тихой юрте только что зажгли свет и Абай по обыкновению склонился над книгой, дверь быстро открылась.

— Добрый вечер! — раздался звучный веселый голос Ербола.

Абай вскочил, бросился навстречу другу и, крепко обняв его, повел к переднему месту.

— Как хорошо, что ты приехал! — повторял он. — Мне без тебя просто воздуху не хватало!.. Раздевайся, садись!.. Постели корпе, Айгерим, дай подушки!..

Он суетился и радовался, как ребенок. Глядя на то, как он хлопочет вокруг друга, Айгерим рассмеялась, но вновь замкнулась в себе. Ей вспомнилось, как раньше, в счастливые дни, Абай так же радостно и ласково встречал и ее даже после одного дня разлуки. Ей вдруг стало жаль Абая, что-то теплое шевельнулось в сердце, но тут же исчезло.

Молодое сердце, охваченное ревностью, бывает и мстительным и несправедливым и способно принять драгоценность да дешевку. Так и Айгерим радостное оживление Абая при встрече с Ерболом приняла совсем за другое: ей казалось, что Абай радуется ему не как старому другу, а как свидетелю и соучастнику своей тайны с Салтанат.

Раньше она всегда встречала Ербола с такой же искренней радостью, как Абай. Их дружбу она понимала как дополнение и украшение своего счастья. Но сейчас в ней возникло горькое чувство: оба они были связаны тем, что разделяло ее и Абая. «Мое несчастье — это Салтанат, — думала она, — а Ербол способствовал ее встрече с Абаем, кто знает, какие у них общие тайны…»

Но все-таки приезд Ербола рассеял молчаливую тоску, давно уже жившую в юрте. Едва успев выпить кумыса, Ербол принялся за свои шутки.

— Торопись, Айгерим, готовь и чай и обед! У меня весь день ничего во рту не было — как напоила меня Дамели чаем в Карашокы, так весь день и ехал!.. А я пока сбегаю на поклон к Дильде, а то Алшинбаева дочка завтра же заскрипит от обиды!.. Пойду и детей обниму… Да не таращи ты на меня глаза, принимайся за дело!

Он будто в своем ауле обошел все юрты подряд и, отдав салем всем старшим, вернулся обратно. Усаживаясь за еду, он сообщил новость: в ауле Есхожи готовился праздник по случаю свадьбы Умитей. Любимица рода, славившаяся и своей красотой, и приветливостью, и своим замечательным пением, уезжала в аул жениха—Дутбая из рода Кокше.

Действительно, в тот же вечер аул Абая получил приглашение на свадьбу. Женщины уехали с Айгерим утром, а к обеду в аул Есхожи приехал и Абай с Ерболом и Баймагамбетом.

Праздник был в разгаре, все юрты, выставленные для гостей, были переполнены приезжими. Друзья прежде всего зашли в Большую юрту и отдали салем Есхоже, пожелав молодым счастья. Тут же их оставили пообедать. Из юрты жениха и его свиты сюда доносились песни девушек, невесток и молодежи аула. Вдруг какой-то шум и взрывы смеха заглушили песни. Видимо, происходило что-то необычное: мимо двери Большой юрты бежала молодежь, дети шумели, даже и из пожилых кое-кто участвовах в этой суматохе. Возбужденные голоса слились в общий говор.

— Э, смотрите, сэри идут!

— Откуда они взялись?

— Душа моя, как они разодеты, не разберешь, мужчины или женщины!.. Глядите — и все в красном, в зеленом!..

— Смотрите, смотрите — вон старший сэри! И домбра у него вся разукрашена! Таких сэри мы еще не видели!

Детвора с криками и смехом сновала между взрослыми:

— Шапки-то! Будто саукеле![31] Это не сэри, а невесты!

— А штаны? Точно женские юбки! А вон у того, как бараньи кишки, тащатся! Вот бы собак на них науськать, потаскали бы за такие штаны!..

Все вокруг суетилось, кричало, смеялось.

— Сал и сэри приехали! — сообщали друг другу люди.

В юрте Есхожи вместе с другими сидел Изгутты. Вероятно, ему показалось слишком почетным называть сал и сэри каких-то неизвестных сорванцов, осмелившихся с таким шумом явиться на праздник, потому что он спросил с неудовольствием:

— Кто это такие? Откуда?

Есхожа, который, как оказалось, знал об этом заранее, объяснил:

— Это не чужие, это все наш Амир устроил!

Абай и Ербол слышали, что несколько молодых жигитов во главе с Амиром разъезжали летом по степи и гостили по аулам, как настоящие сал и сэри, но до сих пор никто еще не называл их так. Друзья вышли посмотреть на выдумки Амира.

Большая толпа молодежи в ярких и пестрых одеждах шла к трем юртам, поставленным для жениха. Средняя была восьмистворчатая, верхние ее кошмы были отделаны узорами из красного и зеленого сукна и оторочены по краям красной каймой. У дверей ее стояли нарядные девушки в собольих шапочках с перьями филина, из-под которых, сверкая, спускались тяжелые шолпы. Среди них была и Умитей, выделявшаяся особенно нарядной одеждой, в шапочке из темной выдры, надетой слегка набекрень. Девушка казалась яркой утренней звездой Шолпан, сверкающей среди других. Когда сэри приблизились, Умитей повела своих девушек навстречу им.

В рядах певцов тоже шли празднично одетые молодые невестки. Баймагамбет с удивлением воскликнул:

— Там и женщины-сэри? Откуда они явились?

Ербол уже узнал идущих.

— Не видишь, что ли, — вон наша Айгерим! Наверное, и невестки сговорились с ними! Вот выдумщики!..

Действительно, перед самым приездом этих необычных гостей в свадебный аул прискакали их посыльные — так же ярко разодетые юноши с кинжалами, заткнутыми за пояс. Они подняли всю эту суматоху и направили гостям навстречу нарядную толпу невесток, находившихся в юрте жениха. Сэри спешились и продолжали шествие об руку с красавицами.

С громкой песней, будто предупреждая аул: «Вот мы идем!» — они шли парами, под руку с невестками или обнимая их. Впереди шел старший сэри, две невестки сопровождали его с двух сторон, положив руки на его плечи. Это был самый взрослый из юношей, высокий и представительный Байтас. Даже домбра его была украшена более пышным пучком перьев филина и бубенчиками, будто и она говорила: «Я тоже не простая, я — сал-домбра![32]» Перед началом каждого припева Байтас подымал ее над головой и потряхивал ею. По этому знаку вожака все сэри дружно подымали свои разукрашенные домбры и громким хором подхватывали напев «Жирма-бес».

Абая и Ербола удивило то, что все певцы пели хором. Обычно песню пели одновременно не более двух человек, даже если юрта полна была певцами. Это новшество понравилось друзьям.

Торопись веселиться, — тебе двадцать пять,

Эти годы к тебе не вернутся опять!..—

говорила песня, и было похоже, что этот припев так подходящий к новой выдумке, множество голосов подымало над толпой молодежи как знамя, как клич молодости.

Девушки, вышедшие с Умитей навстречу гостям, шли к ним с этой же песней. Обе толпы подошли одна к другой и вместе закончили припев. Теперь невестки в белых уборах на головах, шедшие с жигитами, отступили в задние ряды. Их сменила свита Умитей. Каждая из девушек взяла под руку одного из жигитов-сэри, к Байтасу снова подошли две. Умитей пошла рядом с Амиром.

Вся толпа двинулась к средней праздничной юрте. Посыльные певцов, спешившись, выбежали перед шествием. Взмахивая своими разукрашенными плетьми, они разгоняли и теснили детвору и толпу любопытных. Возле свадебных юрт было полно народу, тут стояли и Абай с его друзьями, и свита жениха, и сваты, но посыльные не считались ни с кем, кроме своих повелителей — сэри.

— Посторонись! Отойди! Прочь с дороги! — кричали они и, разделив толпу надвое, проложили широкий путь юрте жениха.

Когда кто-нибудь выскакивал из рядов, посыльные принимали свирепый вид и угрожающе сверкали глазами, подражая шабарманам. Высокие как на подбор богатыри порой угощали нарушителей установленного ими порядка ударом камчи по ногам или по спине, но это ни в ком не вызывало обиды, — потерпевший с хохотом отбегал в сторону.

Шествие привлекло к себе множество зрителей. За тесными рядами любопытных виднелись всадники, прискакавшие посмотреть на небывалое зрелище. Такое количество сэри — их было около сорока, — яркие их одежды, необычное поведение и пение изумляло и восхищало всех.

Байтас, высокий, румяный с остроконечной рыжей бородкой, продолжал идти впереди всех, будто и не замечая толпы зрителей. Две девушки по-прежнему обнимали его за шею с обеих сторон. Приближаясь к юрте жениха, он повелительным движением поднял свою домбру над головой, и все сэри, певшие «Жирма-бес» негромко, словно передавая друг другу какую-то тайну, сразу запели во весь голос. Девушки и молодые невестки присоединились к ним.

За Байтасом, несколько отделившись от всех остальных, шли Амир и Умитей, крепко прижавшись друг к другу, как влюбленные, встретившиеся после долгой разлуки. Их голоса выделялись в хоре. Они были запевалами и вели песню, — Байтас возглавлял торжественное шествие, но в пении все сэри подчинялись им. Красота и обаяние этой юной пары обращали на себя общее внимание, на изысканном языке сал и сэри о них можно было сказать, что их «живописал сам бог».

Весь богатый наряд Умитей, начиная с перьев филина на шапочке из меха выдры, дорогих украшений, бус, бахромы и кончая остроносыми лакированными кебисами, облегавшими маленькие ножки, подчеркивал ее нежную красоту. Лицо ее сияло самозабвенной радостью, будто сейчас, идя рядом с Амиром, она переступала порог счастья вместе с избранником сердца.

Амир тоже выделялся из толпы сэри. Голубой атласный наряд удивительно шел к его высокому росту и к юному лицу со светлой кожей и короткими черными усиками. Амир вел Умитей, повернувшись к ней и не сводя с нее больших, озаренных счастьем глаз. Кроме нее, он никого не видел вокруг и только на нее молился молчаливым взглядом, только для нее пел. Девушка радостно улыбалась в ответ, алые губы ее слегка дрожали, открывая ряд ровных белых зубов. Не отрывая взгляда от лица Амира, она не шла — плыла на теплой волне счастья. Их души уже принадлежали друг другу. Казалось, что юноша и девушка сольются сейчас в безмолвном долгом поцелуе, в первом объятии влюбленных.

Ербол, прекратив шутки, молча смотрел на них. Тяжелое и тревожное чувство овладело и Абаем. Шествие сэри вдруг потеряло для него всякую занимательность, и, оставив Ербола и Баймагамбета, он стал протискиваться сквозь напиравшую толпу.

Но убежать от своих мыслей он не мог. Пробираясь в задние ряды, он слышал кругом возгласы удивления. Они долетали до него со всех сторон и как будто хлестали по ушам.

— Погляди-ка на Амира и Умитей… Одни они, что ли… как идут!.. — говорила пожилая женщина своему мужу.

— У кого же нынче свадьба — у Дутбая или у Амира? — удивлялся человек с проседью в бороде.

— Точно влюбленные после разлуки… — услышал Абай позади себя. И эти возгласы, шепот, шутки и сочувственные сожаления преследовали его, пока он не вышел из толпы.

— Собой не владеют…

— Уж если влюбляться, то так, как эти!..

— Эх, молодежь, и скрыть своих чувств не умеет!..

— Вот это пламя, пропадает жизнь у бедняжек…

— Чуют разлуку… Когда страсть побеждает, разум отступает…

Пересуды и шепот бежали по толпе, готовые слиться в недобрую сплетню. Абаю стало не по себе. Поведение Амира и Умитей смутило и его: ему было стыдно за них и перед всей этой толпой и перед Дутбаем, женихом Умитей. Жигит этот, несмотря на свою молодость, пользовался уважением всех и самого Абая. «Дойдут до него эти злые слухи — тяжело будет и ему и им обоим», — с тревогой думал он. Его уже не радовало ни пение, ни веселье, продолжавшееся вокруг свадебной юрты. После угощения жигиты вскочили на коней, начались скачки, состязания, игры. Абай сам разыскал своего коня и незаметно уехал один.

Лица Амира и Умитей, горящие страстью, все еще стоили перед его глазами. Он то досадовал на влюбленных, жалел их; то осуждал их, то сам терялся перед всепобеждающей силой, более могущественной, чем воля человека, силой, о которой он не раз читал в книгах. Сердца их были полны огня, и, хотя они не сказали ни слова, взгляды их выразили все не только друг другу, но и всей этой толпе… Задумавшись, Абай ехал по степи, сам не видя куда. Неясные еще строки звучали в нем. Казалось, это был голос молодых сердец, прямых и откровенных, не считающихся ни с чем и не подчиняющихся рассудку. Сам собой зазвучал новый напев, медленный и задушевный, подхватывая сложившиеся стихи:

Речь влюбленных не знает слов.

У любви язык таков:

Дрогнет бровь, чуть вспыхнут глаза —

Вопрос иль ответ готов…

Внезапно родившиеся строки не выходили у него из головы весь день, и, вернувшись к себе в аул, он все время возвращался к новой песне.

Праздник в ауле Есхожи лишь в течение первого дня шел беззаботно, шумно и весело, как и полагается идти свадьбе. В следующие дни торжественность его и веселье были омрачены предвестьем надвигающегося несчастья. С той самой минуты, когда Амир вошел в юрту невесты под руку с Умитей, свадьба Дутбая как бы превратилась в торжество юного певца. И с этой же минуты толки, которые слышал Абай во время шествия, быстро разлетелись по степи, как пожар в ветреный день.

Гостями на свадьбе были не только иргизбаи, анеты, жигитеки, мамаи, стоявшие на осенних пастбищах поблизости — в Ойкодыке и Ералы, сюда явилось и множество гостей из рода Кокше, сосватавшего Умитей. Молва об Амире и Умитей быстро распространилась по всем этим племенам. «Амир так себя ведет, что весь Иргизбай позорит перед Кокше», — злорадно шептали те, кто таил обиду на иргизбаев. Другие, имевшие счеты с карабатырами, говорили о том, что юношу подбила сама Умитей: «Проводи меня сам, проводи меня своими песнями», — будто бы послала она ему сказать, приглашая на свадьбу.

Так или иначе, Амир и Умитей были неразлучны. Все три дня и три ночи в свадебных юртах непрерывно звучали их песни. Пела и Айгерим, много и охотно, как будто выпуская на волю все те песни, которые так долго подавлялись в ее ауле. Она пела, как соловей, вырвавшийся из клетки.

Дутбай, жених Умитей, был одним из самых умных, красноречивых и известных жигитов рода Кокше. Он успел уже приобрести положение и влияние среди сородичей. Честолюбивый и гордый, он мучительно переживал тяжесть двусмысленного положения, в которое поставило его на собственной свадьбе поведение Умитей. Первое время он обрывал своих товарищей, делавших обидные для него намеки. Потом он попробовал спокойно уговорить Умитей держаться подальше от сэри, не обвиняя ее прямо в глаза. Однако советов его Умитей не приняла.

— Ведь я прощаюсь с сородичами, прощаюсь навсегда, — ответила она. — Я знаю, что тебе тяжело, но прошу тебя, позволь мне повеселиться с ними, ведь мы росли вместе…

Она умела добиваться своего, в особенности когда говорила так нежно; кроме того она вообще не привыкла повиноваться.

Несмотря на свою молодость Дутбай хорошо разбирался в людях и имел достаточно выдержки, чтобы с достоинством перенести такого рода испытание. Эти качества и выдвинули его среди молодого поколения. В роде Кокше он пользовался большим влиянием, с ним считались не меньше, чем с Такежаном в Иргизбае. Спокойно все обдумав, он понял, что, действуя напролом, он только ухудшит положение и сам будет вынужден идти на открытый разрыв. Терять же Умитей, которая всегда ему очень нравилась, Дутбаю не хотелось. Он и раньше хвалился: «Беру белого марала, лучшую девушку Карабатыра!» После разговора с Умитей он решил терпеть и общество сэри и все усиливавшуюся сплетню.

Но терпения его хватило только на три дня. На рассвете четвертого дня несчастливой свадьбы он своими глазами увидел то, что Амир и Умитей считали скрытой от всех тайной: закутавшись в черный чапан, они стояли обнявшись у белой юрты невесты. Дутбай сам сорвал с их голов чапан и увидел их заплаканные лица, соединившиеся в долгом прощальном поцелуе.

Дутбай тут же послал товарищей пригнать с пастбища коней и будить всех, кто с ним приехал, даже старшего свата и самых пожилых родичей. «Пусть сейчас же садятся на коней, и глотка воды не сделав!» — приказал он, и приказал так, что спорить с ним никто и не подумал. С восходом солнца жених и вся его свита покинули аул Есхожи, не простившись ни с кем.

Это было тяжким позором не только для невесты, но для всего ее аула: жених сам давал развод, брезгливо оставляя невесту ее родне. Есхожа собрал всех старших своего аула и погнался за главным сватом жениха Жанатаем. «Не раздувайте пожара, не накличьте беды! — умолял он. — Говорите, что вы просто отправились вперед… Все еще спят, никто не видел, в каком гневе вы уезжали… Все еще можно спасти — мы сейчас же разберем свадебную юрту и отправим Умитей вслед за вами… Не будем затевать вражды!..»

Жанатай поговорил с Дутбаем. Тот, уже овладев собой, взвесил неминуемые последствия своего отъезда и согласился. Есхожа поскакал в аул. Юрту невесты сейчас же разобрали, и скоро Умитей была отправлена в аул жениха вместе с провожающими и с караваном приданого.

Айгерим вернулась в свой аул к концу этого тревожного дня. Абай и приехавший накануне Ербол встретили ее у юрты. Лицо ее их поразило: счастливое и оживленное, оно сияло живой красотой, как в давние дни. Выйдя из повозки и сбросив на руки Злихи верхнюю одежду, Айгерим подошла к Абаю и Ерболу с учтивым вопросом о благополучии аула. Абай смотрел на нее с радостным изумлением.

— Взгляни-ка на нее, Ербол! Она просто расцвела! Вот что сделали ее любимые песни!

— Верно, — в тон ему ответил Ербол. — Она будто красная лисица, повалявшаяся в первом снегу!..

Айгерим невольно улыбнулась.

— А что же вы не захотели послушать их? Уехали с праздника без меня, оставили одну с моими песнями… А теперь смеетесь надо мной…

Но Абай и не думал поддразнивать ее.

— Да мы не смеемся, мы восхищаемся тобой, дорогая моя!.. Видно, ты рождена для песни, а мы надели на тебя колпачок, как на ловчую птицу, и держали в плену. Ты совсем ожила, на тебя и смотреть радостно! Знаешь, ты похожа сейчас на прирученного сокола, когда он кружит над юртой в ветреный день, вернувшись из далекого и долгого полета: тогда он снова немного дичится — и на зов не идет и на руки не садится… Слишком долго тосковал он о вольном небе, чтобы сразу забыть о прелести полета, о короткой своей свободе… Разве не такая сейчас наша Айгерим? Она вся еще там, в песнях… Ведь правду я говорю, а, Айгерим?

Друзья улыбались, улыбалась и Айгерим, заливаясь смущенным румянцем. Потом она сказала с нарастающей горечью:

— Вы все шутите надо мной… То я лисица, то сокол… По правде, я и сама не знаю, кто же я — свободная ли птица, или меня держат на привязи, не доверяют, испытывают, скрывают правду… — Она нахмурилась и ушла в юрту.

Отъезд Умитей не смог положить предел безрассудству Амира.

Когда ее отправили вслед за родичами жениха, Амир, убитый отчаянием, уехал из аула Есхожи вместе со своими товарищами сэри по другой дороге. Образ любимой не покидал его. Едва аул скрылся с глаз, он упал головой на гриву коня и предался своему горю. Жигиты стали утешать его, и кому-то пришла в голову мысль нагнать свадебную кочевку, чтобы дать Амиру возможность в последний раз попрощаться с Умитей.

Амир и вообще никогда не обращал внимания на людские пересуды, в эти же дни он в своем горе был глух ко всему. Он совершенно не представлял себе, как раздулась сплетня о них с Умитей и к чему приведет это новое свидание. Наоборот, одна мысль о встрече оживила его, и он выпрямился в седле.

— С этим кокше ее связало только сватовство, а меня с ней соединила воля всевышнего, — обратился он к друзьям. — Не думайте, что я говорю так по молодости или легкомыслию. Я знаю: судьба обрекла меня на это пламя. Пусть это грех, но без Умитей для меня нет жизни… Поворачивайте коней! Догоним кочевку!

Среди друзей Амира был молодой певец и акын — румяный, светлоглазый жигит Мухамеджан. Он сильнее всех сочувствовал юным влюбленным и острей всех переживал горе Амира. Услышав смелые и решительные слова юноши, он весь встрепенулся, любуясь другом, и громко рассмеялся от восхищения.

— Вот это слова!.. Эй, жигиты, подхватим их! У этой минуты есть своя песня, слушайте!

И он тут же запел своим высоким и чистым голосом как бы от имени Амира. Слова песни, рожденной внезапно, звучали призывно и страстно:

Очнулась душа, рассеялся мрак,

Готов я неслыханный сделать шаг.

В погоню!.. Увозят свет жизни моей!..

Гоните, друзья, белогрудых коней!

Амир и все сэри подхватили новую песню и подняли вскачь своих коней, подобранных для праздника в масть — один к одному белых как снег. Только под Амиром был темногривый саврасый. С громкой песней, звучавшей, как боевой клич, жигиты скакали по широкой равнине, ни разу не натянув поводьев. Скоро с пологого холма они увидели свадебную кочевку Умитей — десять верблюдов, навьюченных приданым, и нарядных мужчин и женщин верхом на конях. Перегоняя друг друга, жигиты помчались к кочевке, которая уже приближалась к стоянкам Кокше.

Даже внезапный отъезд жениха не образумил Умитей. Ни в ауле, прощаясь с Амиром и рыдая в его объятиях, ни в пути она не скрывала своего отчаяния. Глаза ее покраснели от слез. Горько всхлипывая, она то и дело бросала печальные взгляды в ту сторону, где остался единственный друг ее души. И вдруг она заметила всадников в ярких цветных одеждах, нагонявших караван. Сердце ее забилось. Старшие, ехавшие впереди каравана, тоже увидели их. Есхожа удивленно переглянулся с Изгутты.

— Откуда их вынесло? Совсем ума лишились?

Впереди других, обогнав их на расстояние пущенной стрелы, мчался одинокий всадник на темногривом саврасом коне. Умитей рывком остановила своего иноходца и вся замерла в ожидании. Это — Амир, это может быть только он!..

Доскакав до Умитей, юноша, задыхаясь от сдерживаемых рыданий, обнял ее и стал осыпать поцелуями влажные от слез глаза. Спутники Амира, примчавшись вслед за ним, тотчас окружили влюбленную пару. Их белые кони, ставшие вокруг тесным кольцом, казались живой юртой, воздвигнутой для Амира и Умитей. Сэри запели «Козы-кош», прощальную песню Биржана, замедляя ее напев и придавая ей этим необыкновенную печальную торжественность:

Прощайте, юные друзья!..

Здесь с вами юным был и я.

Уйду в далекие края —

Уйдет и молодость моя…

Амир и Умитей продолжали плакать, прижавшись друг к другу. Изгутты и Есхожа, прискакав из головы каравана, врезались в кольцо коней, окружавшее влюбленных, и закричали вне себя:

— Хватит, довольно! И так наделали дел!..

— Уймись, Амир! Попрощался — ну и ступай!

В голосе Изгутты кипела злоба. Он схватил повод коня Умитей и с силой потянул к себе. Иноходец сделал скачок, вырвав девушку из объятий любимого. Она дико вскрикнула:

— Амир!.. — и, пытаясь остановить своего коня, взмолилась — Не покидай меня, Амир! Доведи сам до костра мучений! Мои же родичи бросают меня в пекло!.. Не покидайте меня, все идите за мной, все!

Слезы высохли на ее глазах. В отчаянии она обвела всех взглядом и, смертельно побледнев, выкрикнула с неожиданным озлоблением:

— Пусть взбесится! Посмотрю я, как он посмеет стать поперек!

И она вцепилась в повод коня Амира, увлекая его за собой. Амир, перегнувшись с седла, охватил стан и приник к ней поцелуем.

— Милая моя… Полная луна моя… Пусть прервется дыхание мое, лишь бы не закатилась моя луна… Если суждена мне, несчастному, смерть — умру на твоих глазах! Еду с тобой!

И он повернулся к своим спутникам-сэри:

— Едем все!..

Те оттеснили от них Изгутты и Есхожу, и караван двинулся. Толпа нарядных сэри, окружив Умитей, провожала ее, охраняя, как драгоценное сокровище. Старшие провожатые и сваты ехали впереди, не в силах помешать этому.

Нарядная восьмистворчатая юрта невесты была уже доставлена в аул жениха. Молодая келин вошла в нее, поддерживаемая под руки Амиром и Байтасом, перед нею, по обычаю, несли растянутый шелковый занавес, — сэри на этот раз не отступили от обычаев, но население аула встретило их неожиданное появление встревоженно и даже недружелюбно.

Однако недовольство и раздражение не перешагнули порога Молодой юрты. Молодежь, девушки, невестки и пожилые байбише аула встретили новую келин добрыми пожеланиями и осыпали ее голову, увенчанную свадебным убором, всевозможными подарками. Никто будто не замечал странного для такого торжества присутствия Амира.

И этот торжественный прием Умитей и забота о ее чести были делом самого Дутбая. Он не просил совета ни у старейшин рода Кокше, ни даже у своего отца Алатая. Вооружившись мужеством и терпением, он шаг за шагом исполнял принятое им самим решение — отвести сплетню от имени Умитей и принять ее в свою семью торжественно и радостно.

Но в тот же вечер, поручив гостей своей матери, умной и спокойной женщине, Дутбай сел на коня и помчался в соседний аул к главе рода Кокше, своему дяде Каратаю. Попросив всех выйти из юрты, он с глазу на глаз рассказал ему о тяжелой обиде, причиненной Амиром.

— Поезжайте к Кунанбаю и своими устами поведайте ему обо всем, — заключил он. — Пусть уймет мальчишку, иначе дружба между Кокше и Иргизбаем рухнет, все пойдет прахом!

С того дня как он стал во главе рода Кокше, старый Каратай не помнил случая, чтобы кто-нибудь из молодежи так твердо высказывал готовность к борьбе с одним из самых сильных и многочисленных родов Тобыкты. Он с гордостью окинул взглядом Дутбая, крупного, статного, молодого, с большим открытым лбом и смелыми решительными глазами, в которых, как у сокола, мелькали золотистые искорки. Видно было, что такой, не задумываясь, кинется в костер, если того потребует честь рода. Но вместе с тем Каратай оценил самообладание и мужество Дутбая: гнев не затуманивал его разума. «Да, видно, ты настоящий кокше, — подумал старик, — быть тебе после меня хозяином рода…»

Выслушав до конца рассказ Дутбая, Каратай поднял на него немигающие глаза, обдумывая решение, и коротко сказал:

— Вели подавать коня. Найди мне провожатых. Поеду сейчас же.

Дутбай послал в аул за своим отцом Алатаем и одним из старейшин рода — Бозамбаем, прося их сопровождать Каратая.

Аул Кунанбая одиноко стоял на Корыке, старый хаджи отделился от всего Иргизбая, раскинувшего свои стоянки на Ойкодыке. Нурганым никак не могла забыть обиды, которую ей пришлось вытерпеть весной от Оспана, и все лето просила Кунанбая о постройке отдельной зимовки: ей хотелось быть в стороне от соперниц, от их уже взрослых и дерзких сыновей. Эта просьба совпала с желанием самого Кунанбая, искавшего старческого уединения. Летом он раньше других прикочевал к Корыку и, согнав сюда целую толпу жигитовз, выстроил небольшую зимовку для себя и Нурганым. Сейчас старый хаджи стоял аулом возле новой зимовки, предаваясь своему безмолвному покою, подобному смерти.

Каратай со своими спутниками доехали сюда к наступлению ночи. Почти весь аул уже спал, но в юрте Кунанбая огонь еще не был погашен. Услышав топот коней и лай переполошившихся собак, Нурганым решила, что приехал кто-то чужой: кто из близких родичей приедет к ним поздней ночью, когда и днем-то все старались объезжать стоянку Кунанбая, словно аул заразного больного? Старик хаджи не выходил из-за занавески, не принимал участия в мирских разговорах, его аул наводил на гостей скуку и уныние.

Когда приезжие вошли в юрту, Нурганым, сидевшая у ног Кунанбая и наполовину скрытая занавесом, выглянула из-под него и негромко сообщила мужу:

— Каратай приехал.

Кунанбай сидел на кровати, обложенный подушками, и перебирал, четки, низко опустив лицо. Услышав слова жены, он быстро поднял голову, выражение смирения и раскаяния исчезло с его лица. Не успели гости дойти до переднего места, как Кунанбай резко откинул — точно смахнул — занавес, висевший опущенным с самого утра. Он даже не поздоровался с прибывшими. Сверкнув своим единственным выцветшим глазом, он уставился им на Каратая, и того поразило жестокое, полное злобной настороженности лицо кающегося хаджи: уже лет десять никто не видел его таким. Каратаю стало даже не по себе, будто он, оступившись, провалился в берлогу спящего хищника и, внезапно разбудив, сразу разъярил его.

Но появление Каратая не было неожиданностью для Кунанбая. Вчера, возвращаясь из аула Есхожи, Айгыз заехала к мужу и выложила ему свои обиды и жалобы. Она уехала со свадьбы возмущенная. Есхожа приходился ей близким родственником, и на прощанье она упрекнула его, что он дал такую волю жигитам-сэри и превратил праздник в недостойное посмешище. Есхожа в ответ сам стал жаловаться на них и просил Айгыз сообщить об этом Кунанбаю, объяснив, что не выгнал Амира только потому, что тот — внук Кунанбая. «Чтоб им пропасть с их песнями и тряпками, это не сэри, а погибель на мой дом!» — твердил он.

Айгыз не только передала Кунанбаю его слова, но добавила и от себя много тяжелых обвинений.

— Осмелели! Думают, на них и управы нет! — побелев от злости, говорила она. — Они и наш аул позорили, пока ты был в Мекке, чуть не на головах у нас плясали! Не угас еще взор твой, а дом наш бесовским гнездом уже стал!

Всю свою давнюю завистливую ненависть к молодежи она выплеснула в этой юрте, рассказывая о том, что была на свадьбе, и уехала лишь после того, как убедилась, что слова ее распалили гнев мужа.

У постели Кунанбая горела свеча. В ее свете глаз старика искрился зловещим красноватым огнем. В этом взгляде кипела злоба — упорная, настороженная, готовая к защите и к яростному прыжку. Задержавшись на Каратае, этот взгляд перешел на отца жениха, Алатая, а затем вонзился в лицо богача из рода Кокше — Бозамбая. Остальные не привлекли внимания хаджи — это были простые жигиты, сопровождавшие старейшин.

Кунанбай понял, что старики приехали от имени всего Кокше. Глухая ночь, суровые лица, насупленные брови — все говорило, что Тобыкты вновь постигла беда, несущая смерть. Комкая в руках край отдернутого занавеса, Кунанбай сам обратился к Каратаю:

— Какой ураган пригнал тебя? С какой бедой приехал? Не тяни, рассказывай.

Оба старика понимали друг друга по едва заметному движению бровей. В эту беспощадную ночь и мысли были беспощадны. Глядя на застывшее в холодном гневе лицо Каратая, Кунанбай понял сразу: «Его привела ко мне несмываемая обида. Не так приезжает тот, кто готов к примирению».

Каратай угадал мысль хаджи и дал волю тяжелой, как камень, злобе, давившей его с самого вечера.

Он рассказал об Амире, Дутбае и Умитей, ничего не скрывая. Говорил, что появились «какие-то развратники, дьяволы, джины, именующие себя сал и сэри», несущие в себе всю испорченность и греховность последних дней мира. Позор лег на весь род, заставив всех содрогнуться от возмущения. Бесстыдство пришло дерзко, неприкрыто, назвало себя песней, высоким мастерством, ставя себя в пример всем. Всю молодежь втянуло и развратило. Вырядилось в красное и зеленое тряпье, нацепило на шапку перья, затянуло песню, насмехаясь над всем святым.

— Если бы они сели на мою только голову… Но они позорят наших предков, оскверняют их прах! На могилах их пляшут! И нас с тобой перед смертью клеймят черной грязью, чтобы мы предстали с нею перед всевышним. Жалею тебя, но молчать не могу. Кому другому скажу все это? На кого могу я положиться в такое нечестивое время? Никогда не прибегал я с жалобой не только к тебе, но и к последней собаке твоей, — а теперь требую: наложи запрет на этот позор! Рассуди сам справедливо.

Дальше говорить было не о чем. Кунанбай приказал Нурганым отвести гостей в отдельную юрту и подать угощение, а к нему вызвать ее брата Кенжакана.

— Сейчас же бери двух коней и скачи в аул Алатая на Шолак-Терек, — приказал ему Кунанбай. — Отыщи Изгутты и передай: пусть до восхода солнца доставит ко мне Амира! Если тот будет сопротивляться, — связать ему руки и ноги! Избить, но доставить.

Кенжакан, сильный и решительный юноша, никому не дававший спуска, внимательно выслушал Кунанбая, точно впитывая в себя его злобу и возмущение, и тотчас ускакал выполнять поручение.

Кунанбай продолжал сидеть на месте, судорожно сжимая в руках край занавеса. Всю ночь он просидел так, не смыкая глаз и не шевелясь, как каменное изваяние. Старческий гнев, тяжелая злоба, холодная ярость, углубив бесчисленные морщины, застыли на его лице.

Забрезжил белесый рассвет. Потом над широкой пожелтевшей равниной и серыми холмами поднялась багровая осенняя заря. Потом первые лучи солнца залили юрту кровавыми струями. И тогда в юрту Кунанбая вошли Изгутты и Амир. Лицо юноши казалось мертвым — щеки поблекли, глаза потухли, губы побелели.

Кунанбай давно не видел внука. Он молча уставился на него тяжелым взглядом, как бы рассматривая его, и потом, протянув к нему руки, сделал знак: «Подойти сюда!»

Амир бросил шапку и плеть, подошел к деду и стал опускаться перед ним на колени. И вдруг костлявые пальцы, всю ночь сжимавшие занавес, впились в обнаженную шею юноши и стиснули его горло. Эти старые руки не потеряли былой силы: железными оковами они сжали шею Амира. Старик притягивал внука к себе и тряс его, не давая дохнуть. Юноша посинел, теряя сознание, но железные клещи не ослабевали. Амир захрипел и безжизненно повалился у кровати. Став на колени, Кунанбай не выпускал горла внука из цепких рук. Еще миг — и все было бы кончено.

— Что делаешь? — бросился к нему Изгутты. — Будь он хоть собакой, но твой же он внук!..

Кунанбай с такой нечеловеческой злобой сверкнул на него глазом, что Изгутты отшатнулся. Нурганым, поняв, что когти старика вот-вот прикончат юношу, бросилась к мужу и в отчаянии схватила его руки.

— Хаджи, свет наш, опомнись. Прости его! — закричала она и, навалившись своим сильным телом, оторвала руки Кунанбая от горла Амира. Старик с силой ударил Нурганым коленом в грудь, и она грохнулась навзничь, потеряв сознание.

Внезапно войлочная дверь откинулась и на пороге появился Абай. Он увидел, как упала Нурганым и как Кунанбай вновь накинулся на Амира. В один прыжок Абай очутился у кровати.

— Стой! — крикнул он и сильным рывком отдернул руки отца от горла Амира.

— Он нечистый! — взвыл Кунанбай.

— Не дам убивать! — резко крикнул Абай в ответ.

Они впились друг в друга взглядом, полным ненависти. Оба были готовы к смертельной схватке. Глаза Абая смотрели не мигая, холодный гнев и отвращение переполняли их. Слова его, быстрые, громкие, разили, как взмахи кинжала:

— На устах аллах, а на руках кровь? Опять кровь? За что? Ведь и по шариату их любви нет запрета! По тому шариату, во имя которого ты пролил уже однажды безвинную кровь!..

Перед глазами Абая стояла страшная картина казни Кодара. Тогда Абай был мальчиком… Теперь он не позволит отцу повторить преступление…

— А сейчас против шариата убийство совершаешь? Значит, обет молчания и молитвы ты дал не в покаянии души? Хитрил и прятал свой хищный нрав?

Абай не только защищал Амира, он осуждал, осуждал неумолимо… К Кунанбаю вернулся дар речи:

— Вон! Убирайся с глаз моих!

— Не уйду!

— Потатчик! Развратитель! Все из-за тебя! Ты всех с пути собьешь!

— Пусть так! Из-за меня! А ты-то почему не умираешь спокойно? Не твое сейчас время, а мое, зачем ты вмешиваешься в нашу жизнь?

— Ах, вот ты как заговорил! До чего дошел!.. — прошипел Кунанбай и вдруг замолчал. Он решился на страшную месть.

Как бы отталкивая что-то, он вытянул обе руки ладонями вперед, обратив их к Абаю и к Амиру, который едва пришел в сознание. Потом старик провел тыльной стороной рук по лицу — так обращаются к богу с мольбой об исполнении злого намерения.

Увидев это, Нурганым и Изгутты вскрикнули в один голос:

— Боже, не прими мольбы его!

— Создатель, не внемли ему! Горе, горе! Он проклинает детей своих! — повторяли они в страхе.

Кунанбай не замечал их. Опустившись на колени, он внятно и громко произносил свое проклятье, указывая костлявой рукой то на Абая, то на лежащего внука.

— На заре алой утренней… на рассвете раннем… проклинаю отцовским моим проклятьем порченую кровь свою… двоих этих выродков племени моего… Создатель! Великий, всемогущий аллах! Ты сам не дал мне умертвить его— так услышь теперь раба твоего, прими единственную мольбу мою!.. Возьми двоих этих!.. Пошли к ним верную смерть твою!.. Пресеки жизнь злодеев, уничтожь их, пока не отравили они других ядом своим!..

И, еще раз проведя по лицу тыльной стороной рук, он хрипло закричал:

— Прочь! Прочь с глаз моих! Если и вправду моя кровь течет в ваших жилах — выродки вы! В жертву отдаю вас! Ступайте к погибели и погибайте скорее! Вон отсюда!

Абай стоял, с отвращением глядя на отца. Он не дрогнул от его страшных слов и только коротко ответил: — Уйду. Навсегда.

Кунанбай резко задернул занавес и, сев на постель, откинулся на подушки. Четки затрепетали в жилистых руках— хаджи предался молитве и покаянию.

Амир медленно поднялся, взял шапку и плеть и тут же бессильно опустился наземь. Собравшись с силами, он повернулся к занавесу.

— Ты зовешь ко мне смерть, а мне не страшно!.. Не страшно!.. Даже если в огне меня жечь будут — не страшно! Не боюсь я тебя!.. — с отчаянием сказал он.

Абай помог ему встать на ноги и вывел из юрты, благодаря судьбу, что не опоздал: тревожная весть о том, что Изгутты увез Амира к Кунанбаю, дошла до Абая перед самым рассветом. С ней прискакал друг Амира — Мурзагул, посланный из аула Кокше Байтасом. Зная бешеный и жестокий нрав отца, Абай, не дожидаясь, пока, ему приведут и оседлают коня, тут же сел на коня Мурзагула и в последнюю минуту домчался до аула старого хаджи.

2

Подошел октябрь. Аулы уже закончили стрижку овец. Близились дни откочевки с осенних пастбищ, но никто не торопился на зимовки. Хотя вокруг аулов, стоявших на Ойкодыке, густые, как войлок, заросли ковыля и других степных трав были уже догола вытоптаны стадами, более отдаленные места всё еще были богаты кормами. Избавившись от жары, скот поправлялся здесь быстро, на глазах, и заботливые хозяева, несмотря на неудобства, осенние дожди и холодный ветер, продолжали оставаться на местах.

Большие летние юрты были уже разобраны и отправлены на зимовку, вместо них поставили маленькие, более теплые. Стены новой тесной юрты Айгерим были увешаны коврами и узорчатыми кошмами. Вместо высокой кровати теперь была устроена на полу постель из множества толстых корпе. Место перед постелью, где обедали и пили чай, застлали длинношерстными овечьими шкурами, середину юрты заняли очаг и котел.

В этот дождливый день Абай, читая, сидел на постели, опираясь спиной о сложенные одеяла и подушки и держа книгу в руках. Одет он был уже по-зимнему — поверх бешмета на нем была крытая сукном теплая и легкая шуба, на ногах — просторные сапоги, подбитые внутри войлоком. Айгерим, сидевшая, как всегда, рядом с мужем, куталась в легкий бешмет из лисьих лапок, обшитый по воротнику и бортам мехом куницы, с застежками из красных самоцветов и серебряными пуговицами работы известного мастера-чеканщика.

Айгерим, по обыкновению, была занята вышиванием, Ербол и Баймагамбет, неторопливо попивая осенний кумыс, играли в тогыз-кумалак.[33] Обед уже был готов, котел сняли с огня, едкий дым догорающего очага ел глаза и наполнял гортань горечью. Когда хозяйка пригласила всех вымыть руки и садиться за угощение, Абай закрыл книгу, которую молча читал с самого утра, и взглянул на шанрак.

— Открыть бы тундук, — заметил он.

Но сквозь небольшую щель, оставленную для выхода дыма, моросил мелкий, бесшумный осенний дождь. Абай нахмурился.

— Ой, боже мой, что за погода!.. Откроешь тундук — дождь, закроешь — дым…

Снаружи послышались негромкие голоса подъехавших верховых. В юрту вошли двое: племянник Абая — Шаке, старший брат Амира, и охотник Бекпол. Шаке был озабочен и, видимо, ждал возможности поговорить по делу. Действительно, как только обед был окончен, он обратился к Абаю:

— Я приехал посоветоваться, Абай-ага, — начал он. — Хочу поговорить с вами об Амире…

Шаке нерешительно замолчал. Абай и Айгерим встревожились.

— Здоров ли он? — заволновалась Айгерим. — Эх, бедняжка, живет мальчик, как изгнанник какой-то.

Абай участливо спросил:

— А как он сейчас — тоскует по-прежнему?

— Он очень скрытен, — ответил Шаке неопределенно. — Незаметно, чтобы он был болен… По виду здоров но в душе у него ураган бушует. Я думаю, что он и худеет и чахнет только от этой тоски… Я вот о чем хотел сказать Абай-ага: то он ходил как живой призрак, а нынче — не знаю, из упрямства ли, или встряхнуться хочет — снова принялся за старое. Ни с кем не советовался, никому из родичей слова не сказал, а вчера вызвал к себе всех своих друзей, сал и сэри… Опять нарядились и что-то затевают. Утром я слышал, они говорили, будто поедут в Кокше. Неужели он решился на открытую вражду? Что скажет на это старый хаджи? Ведь он только что проклял его… А кокше! Они так и ждут, как бы отомстить Амиру, боюсь, что пойдут на любое зло… Но как предотвратить его? Дайте совет!

Абай молча слушал, не отрывая взгляда от Шаке, как бы впитывая в себя печальные вести об Амире. Его решение удивило всех.

— Нельзя нам отдать Амира во власть горю, уступить смерти, — сказал он. — Если бы он жил в другое время, среди других людей, может быть, он был бы выше всех нас, выше поколения, проклявшего его… Я сочувствую Амиру всей душой. Он уже достаточно наказан, пусть поступает теперь как хочет. Ведь его точно по глазам хлестнули — все он вертится на одном месте… Так пусть хоть не говорит, что его гоняют все, кому не лень, и конный и пеший. Не препятствуй ему, Шаке. Хочет ехать в Кокше — пусть едет. Отец все равно не снимет проклятья, как бы Амир ни старался, а кокше уже успокоились. Может быть, в песне изольется его горе, прояснится душа…

Ербол и Шаке, подумав, согласились с Абаем. Не поддержала его одна Айгерим.

— Какая польза человеку от сладких речей родичей, если они не подтвердят их делом? — заметила она и отвернулась.

С того дня как Абай вернулся из Семипалатинска, ему казалось, что он потерял свою прежнюю Айгерим. Она и раньше высказывалась редко и скупо, но тогда и слова и мысли у нее были общими с Абаем. Теперь Айгерим точно утеряла ту прежнюю чуткость, когда она понимала Абая с полуслова. И в ее замечании прозвучали сейчас та же отчужденность, тот же внутренний холод.

Судьба Амира и так угнетала Абая, а эта мысль об Айгерим еще усилила его тоскливое чувство безысходного одиночества. Светлая и теплая, как ясный день, жизнь сменилась серым, будничным супружеским существованием. В счастливом, полном радости доме угнездилась тоска. Казалось, настала нудная осень жизни с ее бесчисленными обидами, обвинениями, уколами… И всему причиной была Салтанат, ни в чем не повинная Салтанат.

Слова Айгерим больно укололи Абая, но он не возражал и надолго замолчал, глубоко задумавшись. Делом?.. Из-за Амира он впервые в жизни вступил в открытую схватку с отцом, поднял на него руку. Он вспомнил проклятье Кунанбая и горько усмехнулся над самим собой: с одной стороны — ненависть отца, который молит бога о гибели его, Абая, с другой — душевная отчужденность Айгерим, единственного человека, кто, как он думал, безмерно ему предан… Откуда это отчуждение? Разве Абай преступник? Какое непростительное зло он совершил? Или он изменил любви и променял Айгерим на Салтанат? Нет, это не так! Ничего этого не было, все не так, как думает Айгерим…

Правда, Абай все время возвращается мыслями к Салтанат, но думает он о ней всегда только с восторженным уважением. И, оценивая свое поведение, он иногда поражается своей благоразумной сдержанности и чувствует гордость за самого себя. Абай знает, что, если бы ему вновь встретилась такая женщина, как Салтанат, он снова будет вести себя так же. Это новое в нем — дорого ему самому, он видит в этом приобретенное им в жизни достоинство. Оно—следствие нового воспитания, рождающего нового человека, редкий еще для казахского общества его времени пример. И это дало ему чтение русских книг, пустившее в нем такие глубокие корни и принесшее плоды чистоты и человечности. Пусть он одинок, но он удовлетворен. «Значит, я черпаю не только знания, но и воспитание. И следствие его—мое отношение к Салтанат, невозможное и смешное в глазах других жигитов», — думалось ему.

Айгерим ничего этого не поняла. Она и не задумалась над тем, что между жигитом и девушкой возможна чистая, человеческая дружба. Она все принимает по-привычному, по-старому. Но ведь этого не внушить словами: человек постигает это сам вследствие больших внутренних изменений, вследствие нового отношения к жизни и людям. Вот в этом Айгерим и далека так от Абая, отсюда и ее отчужденность… «Если бы только расширился ее кругозор, мы поняли бы друг друга, а теперь ее сердце в тяжелом плену», — думал он и вспоминал, сколько раз пытался он залечить ее душевную рану. Сколько раз пытался он поновому направить ее мысли о Салтанат!.. И каждый раз он наталкивался на замкнутость, на молчаливый отказ от объяснений, видел лишь нахмуренные брови и бледное от гневной обиды лицо… И он чувствовал, что они стоят на разных берегах, не находя брода. В тесном домашнем быту между ними залегла глубокая пропасть… И с новой силой почувствовав свое одиночество, Абай глубоко и прерывисто вздохнул.

Айгерим обернулась, взглянула на мужа и поняла, что ее замечание взволновало его. «Кажется, обидела…» — подумала она. Абай с горькой печалью посмотрел ей в глаза, потом отвернулся и обратился к Ерболу:

— Ах, Ербол, Ербол… — тоскливо сказал он. — Душно стало на белом свете… Придумай хоть ты, куда бы нам деваться… Хоть в степь поехать встряхнуться…

Ербол, как всегда, тут же нашел решение, оживившее Абая.

Шаке с товарищами-охотниками собирался ехать за Чингизский хребет на салбурын — осеннюю охоту. Абаю никогда не приходилось выезжать на салбурын, и теперь, по совету Ербола, он решил воспользоваться случаем.

Недели через две Шаке заехал за обоими друзьями. Взяв с собой Баймагамбета и жигитов для ухода за конями и приготовления пищи, они выехали на урочище Киргиз-Шаты. В этой глубокой, поросшей лесом лощине в безлюдных горах Чингиза их ожидали охотник Бекпол, молодые друзья Шаке и орлятник Турганбай, уже выбравшие стоянку. Они поставили шалаши у горы Кши-Аулиэ — «Младший святой», — названной так потому, что у самой вершины ее чернела большая пещера. Таких пещер в Чингизе две. Другая, более обширная, находится на расстоянии дневного пути от Киргиз-Шаты и называется Коныр-Аулиэ — «Смиренный святой».

Три охотничьих шалаша, тесных, но теплых, крытых двойным войлоком, стояли у реки, поросшей по берегам березой, черемухой и тополями. Сразу за стоянкой круто возвышалась скала, нависая над шалашами. Утра были очень хороши для охоты: большого снегопада еще не было, но перед рассветом выпадала пороша; «короткий сонар» — след по свежему снегу удобен для поисков дичи.

Ложились спать с сумерками, вставали с рассветом. Абай увлекся жизнью заправского охотника. За десять дней охоты — то с беркутами, то с собаками — они завалили шалаш дичью и лисьими шкурками. Особенно отличались Шаке и Бекпол, без промаха бившие из своих старинных фитильных ружей.

Едва занималась заря. Баймагамбет и повар Масакпай только собирались еще разводить у шалашей огонь и готовить чай. Абай крепко спал рядом с Ерболом, когда тот внезапно разбудил его, похлопав по плечу:

— Погляди-ка, Абай, что он собирается делать? Ты видел когда-нибудь такую охоту?

Абай поднял голову и увидел, что Бекпол просунул ствол ружья в отверстие тундука и тщательно целится. Оба вскочили с постели. Длинное черное ружье Бекпола грохнуло, и клубы, синего дыма наполнили шалаш.

— Свалился, свалился! Под лопатку попал! — закричал Бекпол и кинулся к двери.

Друзья ухватили его за полы:

— Кого ты подстрелил? В чем дело?

Бекпол, вырвавшись, одним прыжком выскочил из шалаша, крикнув на бегу:

— Архар! Самец — туша с юрту!.. Вниз валится, бегите за мной!

Снаружи донеслись крики Баймагамбета и Масакпая::

— Ойбай! Падает, падает! Шалаш раздавит!

Абай выглянул в низкую дверку шалаша. Темная туша, сорвавшись с крутого склона, нависшего над стоянкой, летела вниз и тяжело грохнулась оземь у самого шалаша. Послышался предсмертный хрип. Абай и Ербол, наскоро натянув широкие сапоги и накинув шубы, выскочили из шалаша. Бекпол уже приканчивал кинжалом крупного архара. Кругом толпились разбуженные выстрелом охотники, возбужденно переговариваясь:

— Ну и самец, просто вол какой-то!.. Откуда он явился, не больной ли? Матерый, сухорогий, — ищи такого, не сыщешь, а он сам Бекпола разыскал!

Никто не мог понять, как такое осторожное животное, как архар, могло само набрести на свою смерть. Абай долго оглядывал тушу.

— В чем же тут дело? Может быть, он слепой или одряхлел? — сказал он в раздумье.

Бекпол, который успел уже и прирезать архара и внимательно осмотреть его рога и тушу, презрительно фыркнул. Свою охотничью честь он ставил очень высоко и никому не позволял над собой смеяться.

— Если бы он был слепой, так ввалился бы днем прямо к вам в шалаш, чтобы вы с Ерболом хоть кого-нибудь подстрелили… Это он-то дряхлый? Отрубите мне нос, если у него все ребра не будут на палец в сале!.. Сознайтесь лучше, что просто завидуете ружью Бекпола! Оно у меня валит архара, не разбирая ни дня ни ночи!

Во всех трех шалашах сочли это необыкновенно удачным знаком: зверь сам пришел за смертью к охотникам!

— Это к добру, быть сегодня хорошей охоте! Жди трех косяков по девяти голов! — повторяли все.

— Ведите скорей коней и готовьте чай! — распорядился старший охотник, орлятник Турганбай. Шаке уже возился со своим беркутом, ощупывая его мышцы, и тоже поторапливал:

— Готовьте коней, посмотрим сегодня выучку беркутов!

Только Абай и Ербол никак не могли отойти от туши архара. Они тоже считались охотниками и беспрекословно подчинялись распоряжениям более опытных Бекпола и Турганбая, но всюду опаздывали и постоянно сердили всех своей ленивой медлительностью. Ербол, посматривая на архара, сказал Турганбаю:

— Да подожди ты немного, не суетись! Дай хоть полакомиться свежим куырдаком.

Но охота имеет свои законы. Здесь старшинство принадлежит охотнику, знающему уход за ловчей птицей. Поэтому Турганбай распоряжался жизнью всех трех шалашей. Во время охоты он был впыльчив и горяч, и слова Ербола не понравились ему, — он увидел в них отсутствие всякого уважения к такому важному делу, как охота.

— Вечно вы застрянете где-нибудь, — заворчал он на Абая и Ербола. — Охотиться вы приехали или объедаться? Вас на коней сажать — все равно что тощую клячу на ноги ставить… Ну и лежите в шалашах, дожидайтесь, пока вам лучшие куски поднесут, а мы потрясем «Младшего святого» и погложем камни на холмах Шата!

Он посадил на руку беркута и пошел к своему коню, уже стоявшему под седлом. Абай и Ербол, шутливо вздохнув, пошли одеваться.

Когда охотники поднялись на пологую вершину Аулиэ, зимнее солнце, только что выплывшее из-за дальнего перевала, разлило свои огненные лучи по белоснежным складкам холмов. На одной из возвышенностей Турганбай снял колпачок со своего беркута. Шаке, въехав на соседний холм, сделал то же самое. На третьей вершине с беркутом на руке стал Смагул, младший брат Абая.

Абай и Ербол, как обычно, держались возле Турганбая. На этот раз гонщиком у него был верткий и ловкий Баймагамбет, веретеном крутившийся на своем коне. На руке Турганбая сидел знаменитый Карашолак,[34] зависть окрестных охотников, ловчий беркут выучки самого Тулака, известного сыбанского орлятника.

Решив заняться орлиной охотой, Абай стал наводить справки, где можно достать хорошего беркута. Турганбай посоветовал ему во что бы то ни стало добыть лучшего из всех известных ему беркутов — Карашегира.[35] Но владелец его — Жабай, сын Божея, сам страстный охотник, — ответил отказом. Тогда Турганбай и Шаке нашли другую птицу: у Тулака из племени Сыбан есть беркут Карашолак, вот это действительно всем беркутам царь! Уж если иметь хорошую птицу — хоть стоимость калыма отдать, а надо добыть Карашолака!.. Абай купил его за десять голов скота и поручил заботам Турганбая. Тот сам следил за его летней линькой, держал у себя в ауле, обучал всю осень и был уверен, что подготовил птицу к охоте как нельзя лучше.

Карашолак оправдал свою славу. За десять дней он один взял более двадцати лисиц. Ни одного дня не проходило у него без добычи. Были случаи, когда он брал по две лисицы за день, а два раза взял подряд одну за другой по три лисицы мертвой хваткой, не дав им даже времени сопротивляться.

Метнув кругом острый взгляд красных глаз, Карашолак вдруг сорвался с руки Турганбая. Однако охотники не видели никакой дичи; птица слетела с руки, услышав призывный звук: «Кеу», — это Баймагамбет снизу, из ущелья, давал знак, что видит лисицу. Судя по его крику, лиса бежала где-то совсем близко. Все три охотника напряженно следили за полетом Карашолака.

Турганбай, изучивший каждый взмах крыльев Карашолака, определял его состояние по первому же вылету как опытный лекарь по пульсу больного. Когда взмахи крыльев и движения хвоста были быстры и порывисты, Турганбай весело посмеивался и неизменно приговаривал: «Ну, сегодня мой Жанбаур[36] в порядке!» Такой полет радовал его душу, — охотник знал, что он и подскакать не успеет, как беркут схватит, собьет и умертвит лисицу. В этом случае Турганбай доставал из-за голенища продолговатую шакшу из желтого рога, забивал в ноздрю понюшку табаку и только тогда, не торопясь, направлялся к птице, мурлыча под нос свою любимую песню:

От Жанбаура никто не уйдет!

Пот у коня с потника не сойдет,

С сумки охотничьей кровь не сойдет!

Если взлетает мой Жанбаур,

Знаю — спасения дичь не найдет!..

Турганбай был уверен, что Карашолак — потомок легендарного Жанбаура, и так его и называл.

Но сегодня с утра прославленный Жанбаур-Карашолак летал хуже, чем в другие дни. Турганбаю не пришлось повторять своих обычных слов, не вспоминал он и о табакерке. Хлестнув коня, он вскачь пустился в ту сторону, куда полетела птица.

— Что с ним стряслось? — повторял он.

Миновав подножие скалы Аулиэ, он подскакал к обрыву. Поднявшись на стременах, он стал следить, как будет спускаться на лисицу беркут, полет которого сегодня тревожил его. Мимо него шумно промчались вниз Абай и Ербол, разгоряченные охотой. Они ежедневно наблюдали, как беркут берет дичь, но радостное возбуждение их не остывало. Кони скользили и спотыкались на обмерзших камнях, но они продолжали свою скачку, торопясь поспеть к месту схватки. Однако им не хватало ни опыта, ни сноровки: они скакали не в том направлении. Турганбай злился и отчаянно кричал на них:

— Куда? Куда вас несет, неугомонные? Ай-ай-ай, вы только поглядите на них! Принесут они неудачу!.. Вот глупые!..

Действительно, Абай и Ербол испортили все дело. Если бы они не скакали навстречу, лисица, уже подымавшаяся по склону, должна была бы выбежать на открытое место. Но, услышав приближающийся топот, она круто вильнула в сторону и пустилась между Турганбаем и друзьями к скалистой вершине. Беркут продолжал кружить впереди: он ждал, когда лисица появится там. Теперь же из-за оплошности Абая и Ербола ему приходилось взлетать снизу вверх на вершину и кидаться на лисицу, метавшуюся в камнях.

Карашолак так и сделал. Но лисица оказалась матерой, уже белобрюхой, видавшей виды: из двух зол — крылатого врага с восемью копьями когтей и человека на коне — она выбрала второго. Несмотря на все усилия Турганбая, скакавшего вокруг камней и старавшегося криками выгнать ее оттуда, она не выходила.

Дальше дело пошло еще хуже. Вместо того чтобы взмыть над лисицей и упасть на нее с высоты, беркут летел над самой землей, медленно и тяжело, чуть не касаясь камней крыльями. Теперь он совсем не напоминал Жанбаура, — он казался самым обыкновенным беркутом, вдобавок постаревшим и обессилевшим.

Лисица притаилась в камнях между тремя охотниками. Она дождалась приближения беркута, который, заметно устав, еле взмахивал крыльями, и тогда бросилась в сторону, оставляя врага позади. Карашолак и так с трудом взлетел над возвышенностью; гнаться за лисицей он не смог и грузно опустился возле камней, откуда только что спаслась его жертва.

Соскочив с коня, Турганбай взял горсть пушистого снега. Помяв его в руках, он сделал продолговатую льдинку и втиснул ее в клюв птицы, чтобы беркут почувствовал голод и охотнее кидался на добычу. Охватив его шею пальцами и медленно шевеля ими, он дождался, пока льдинка растаяла, и потом, так и не говоря ни слова Абаю и Ерболу, сел на коня и отъехал прочь. Впервые Карашолак так опозорил своего воспитателя. Оба друга поняли, что рассердили его, и, сознавая свою вину, в полном молчании ехали позади.

Приглядев подходящий холм, Турганбай снова снял колпачок с Карашолака и сделал знак ожидавшему внизу Баймагамбету, чтобы тот начинал травить дичь вдоль каменистого оврага. Абай и Ербол осторожно подъехали к нему сзади, но орлятник махнул им рукой и резко остановил их:

— Стойте, куда прете? Вечно суетесь вперед, вертуны несчастные! Кому брать лисицу: беркуту или вам? Чего ж вы лезете? Стойте там, где стоите!

Абай и Ербол переглянулись и, смутившись, как мальчишки, на которых прикрикнул учитель, покорно застыли на месте, указанном им Турганбаем.

Снизу снова послышался высокий короткий вскрик Баймагамбета: «Кеу!» Карашолак взмыл вверх. Он, видимо, злился, коротко и сильно взмахивал крыльями, все ускоряя и сужая круги и подымаясь все выше и выше. Потом, внезапно сложив крылья и выставив вперед плечи, стремительно пал вниз, к самому подножию утеса перед Турганбаем.

Охотник не вымолвил ни слова, но Абай и Ербол, хотя и не видевшие, что происходило перед Турганбаем, не выдержали и, позабыв недавнюю оплошность, ударили коней и вынеслись вперед, крича:

— Кинулся, кинулся! Все-таки взял!.. Удача!.. Удача!..

Они помчались по склону к тому месту, куда опустился беркут. Седло под Абаем вдруг поползло на шею его саврасого, но Абай, не обращая на это внимания, продолжал скакать: не дальше чем на расстоянии полета стрелы он увидел Карашолака, который вел бой с белобрюхой лисицей, ушедшей от него в прошлый раз. Седло уже совсем болталось, и Абай вот-вот мог вместе с ним перелететь через голову коня. Изо всех сил он откинулся назад, сполз на круп коня и так домчался до места схватки.

Красная лиса и черный беркут, бешено вертевшиеся одним пестрым комом на ослепительно белом снегу, поразили его воображение. Он любовался этим, бессознательно повторяя: «Удача… вот так удача!..»—и вдруг увидел нечто другое: купанье красавицы, раскрасневшейся, сверкающей белым телом. Карашолак уже сбил лисицу с ног, придавил к снегу, терзая ее, плечи беркута мягко шевелились, подобно локтям купальщицы под черными волнами волос, покрывающих ее спину… Губы Абая сами собой прошептали:

… с купаньем красавицы схож этот миг…

Этот стих не имел ни начала, ни конца. Он родился внезапно — и сразу исчез…

Приторочив лисицу, Турганбай двинулся к темной от зарослей кустарника возвышенности Киргиз-Шаты. На охоте никто не осмеливался спрашивать Турганбая, что он собирается делать. Все молча тронулись за ним.

Подъехав к холму, орлятник снова послал Баймагамбета к подножию, а сам направился к вершине. Ему не хотелось возвращаться к шалашам, не выпустив еще раз Карашолака. Баймагамбет терпеливо ожидал внизу, когда можно будет начать гон. Наконец Турганбай добрался до вершины снял с головы беркута колпачок, подал знак — и лишь тогда молодой охотник тронулся с места. Турганбай поучительно повернулся к Абаю и Ерболу:

— Вот как надо охотиться! Уж если кого брать с собой, так только Баймагамбета, да сбудутся его желания!..

Ловкий, сметливый Баймагамбет медленно продвигался по краю оврага, то и дело останавливаясь и постукивая рукояткой камчи по луке седла. И на холме и в овраге было совсем тихо, даже ветерок не пробегал по склону.

Казалось, вся природа затаила дыхание, ожидая еще одной победы Карашолака. На другой вершине Турганбай заметил Шаке, который стоял, уже сняв колпачок со своего беркута. На следующем дальнем гребне виднелся Смагул.

Наконец Баймагамбет подал так хорошо знакомый Карашолаку короткий сигнал: «Кеу!» Беркут опять поднялся. Теперь он снова летел, как и первый раз утром: он медленно взмахивал крыльями, весь его полет казался вялым. Лисица бежала внизу, у самой подошвы холма. Беркут поднялся над вершиной, ненадолго застыл в воздухе — и потом резко пошел вниз, плывя над склоном.

Вдруг справа, с соседней возвышенности, в воздух поднялся еще один беркут и тоже направился к лисице, петлявшей перед Баймагамбетом. По короткому ремешку, свисавшему с его лапки, Абай и Ербол догадались, что это не был вольный беркут. Видимо, кто-то — Шаке или Смагул — выпустил свою птицу наперерез Карашолаку. Они переглянулись с одной и той же мыслью: «Ой, сцепятся…»

Чужой беркут поднялся с точки, более близкой к лисице, и мог настигнуть ее раньше Карашолака. Однако он летел медленно и вяло, точно ленился. Зато Карашолак, увидев соперника, ускорил взмахи крыльев и устремился вниз, как будто скинув с себя недавнюю вялость.

Он с маху налетел на лисицу, прижавшуюся к камню, поднял ее на воздух и, перенеся в когтях через камни, опустился с нею перед Баймагамбетом, который мчался навстречу, боясь, что чужой беркут сцепится с Карашолаком. Кувырком слетев с коня, жигит стал размахивать плетью перед птицей, кружившей над ним, стараясь закрыть своим телом Карашолака с лисицей.

Едва увидев над грядами холмов, второго беркута, Турганбай сразу же воскликнул:

— Да это же Карашегир! — и помчался вниз по склону. Абай и Ербол, погоняя коней, ринулись за ним, скользя с горы и увлекая с собой мелкие камни и снег. И они и Баймагамбет не знали повадок ловчих беркутов и думали, что Карашегир сцепится с Карашолаком, отбивая у него лисицу. Турганбай же спешил совсем по другой причине. По всему поведению Карашегира он сразу определил, что этот беркут пойман уже взрослым, а потому никогда не бросится на счастливого соперника. Орлятнику просто хотелось подсмотреть, как станет вести себя Карашегир, и приглядеться к его полету и посадке.

Карашегир действительно не кинулся на соперника и даже не опустился на камни возле него. Он продолжал кружить над ущельем как будто высматривая, не найдется ли где второй лисицы. Он долго не опускался, словно предоставляя орлятнику наблюдать за собой.

Вначале Турганбай торжествовал: обученный им Карашолак как нарочно встретился с прославленным Карашегиром и остался победителем, из-под носа вырвав у того добычу. Но потом он начал мрачнеть. Следя за Карашегиром, он заметил одну особенность его полета: опускаясь над ущельем и снова подымаясь, он взмывал вверх стремительно и неудержимо, как настоящий вольный орел. Это было не только признаком превосходных качеств самой птицы, но и свидетельствовало о высоком мастерстве воспитателя: редкому орлятнику удается добиться от беркута одинаково стремительного полета и вниз и вверх. Турганбай не мог не оценить и того, как Карашегир без единого взмаха крыльев, рассчитанным и быстрым парением поднялся с этого холма над более высоким. Все это доказывало справедливость общего мнения орлятников: «После Шора из рода Жалаир, жившего в незапамятные времена, лучший знаток—это Кул из племени Керей, и лучшая выучка беркутов—это его!» Карашегира изловили сыновья Кула, и беркут пробыл в его руках около десяти линек.

Баймагамбет, Абай и Ербол тем временем с торжеством высвободили лисицу из когтей Карашолака. Ербол посадил беркута к себе на рукав и начал гладить его.

— Молодец, Шолак! Знаменитого Карашегира к седлу приторочил, вырвал у него добычу! — радовался он.

Турганбай не обращал на них внимания, продолжая следить за Карашегиром, который в последний раз низко пролетел над охотниками и потом стремительно взвился к вершине, с которой был пущен. Легкими и сильными взмахами крыльев он достиг холма и сел среди редких камней. Только теперь орлятник отвел от него глаза.

— Ну и пускай не он взял лисицу, — заметил он. — А сел-то как легко! Будто сокол или ястреб!

Он не нашел в себе мужества сказать прямо: «Выучка у него лучше, чем у Карашолака».

Забрав лисицу, они тронулись по склону в ту сторону, откуда появился Карашегир. Навстречу им выехали пятеро охотников. Впереди был осанистый и горделивый широколицый Жабай, сын Божея, в белой мерлушковой шубе. Карашегир уже сидел на его руке. За ним ехали его младший брат Адиль, Абылгазы, Жиренше и жигит-гонщик. Абылгазы, даже не поздоровавшись, засыпал Турганбая вопросами:

— Эй, Турганбай, рассказывай, как перелетел Карашегир перевал? Как он шел на лисицу? Скажи правду — мог он ударить лисицу раньше твоего беркута?

Жабай перебил его, утратив всю свою важность, которую ему придавала длинная окладистая черная борода, делавшая его старше Абая и Абылгазы, его ровесников. Он нетерпеливо спросил:

— Как он летел над Карашолаком и лисицей? Расскажи все честно — мы спорим с Абылгазы. Он говорит — у него плохая выучка…

Жиренше, сам большой любитель охоты с беркутом, казалось, не принимал никакого участия в споре Жабая и Абылгазы. Но когда те пристали к орлятнику, он подмигнул Абаю и Ерболу, показывая в улыбке сверкающие белые зубы и как бы говоря: «Гляди, как его раздразнили!»

Турганбай начал рассказывать. Карашегир был выпущен на лисицу с более близкого расстояния, чем беркут Абая, и, значит, должен был настигнуть ее раньше, но летел очень вяло. Однако по всем признакам и уход за ним и выучка были хороши. Просто ему трудно было состязаться с арашолаком, — тот и поднялся позже, и был дальше, а все-таки опередил Карашегира, схватил лисицу и даже перелетел с ней на другую сторону оврага, опустившись только тогда, когда увидел Баймагамбета.

Он начал рассказывать честно, но под конец стал привирать и хвастаться. Это не ускользнуло от Абылгазы, — он молча умехнулся и выразительно посмотрел на Абая. Тот громко расхохотался, довольный наблюдательностью друга. Теперь и Жабай начал хвастать, как вел себя нынче Карашегир.

— Вот сейчас, на Жанибеке, он замечательно схватил лисицу, ударил оземь! Ты бы посмотрел!..

— А где же она? — не удержался Абылгазы.

— Ты же видел — Адиль вовремя не подоспел! — огрызнулся Жабай и тут же накинулся на младшего брата — Стукнуть бы тебя по надутым губам! Нет того, чтобы соскочить с коня и броситься к ней! Лень тебе лишний раз шаг сделать, — ведь видел, что кругом все шенгелем заросло! Карашегир напоролся на колючки и отпустил лисицу— и все из-за тебя!

Жабай был готов обвинить кого угодно в неудаче беркута. С этого промаха Карашегира и начался их спор с Абылгазы. Услыхав, что Жабай снова оправдывает свою птицу, Абылгазы вновь принялся подтрунивать над ним:

— Ну конечно, — виноват не Карашегир, а кустарник и Адиль! Разве ты признаешься, что сам испортил птицу? Сколько раз я объяснял тебе, что беркут — не Абылгазы и не Адиль, чтобы с утра до вечера только ругать его! Он же не понимает, что ты знатного рода, что твой отец — Бо-жей! За ним уход нужен. Думаешь, он просто уступил Карашолаку лисицу? Как бы не так — просто опоздал, тяжело летел!.. Вот и Турганбай говорит — Карашегир был ближе к ней! Ай-ай-ай, до чего ты его довел! Все бы ничего, кабы не позор, да еще какой — в первой же встрече с Карашолаком!

И Абылгазы снова засмеялся, немилосердно издеваясь над Жабаем. Но тот счел такое поведение сородича-жигитека вероломством и вскипел: дух родового соперничества с иргизбаями всегда жил в его душе.

— Болтаешь, что в голову взбредет! — резко сказал он. — Уж если беркут испорчен, так это тобой: суешься во все, не даешь мне самому им заняться! Ну и забирай свой шалаш, уходи подальше!

Жабай явно позволял себе лишнее, но все отнеслись к его вспышке со смехом. Абай внимательно осматривал Карашегира, которого он видел вперзые, и попросил Жабая снять с него колпачок. Оглядев беркута еще раз, он достал из кармана новый кожаный портсигар, прикурил папиросу от поданной Баймагамбетом спички и не торопясь затянулся.

— Выходит, что не надо было давать ему такое длинное имя, если у него такой короткий полет, — небрежно сказал он и тут же спросил, сколько он взял за это время лисиц.

Жигит-гонщик ответил, что уже больше десятка. Абай усмехнулся.

— Ну, это не охота… У нас все три шалаша полны лисьих шкурок… Лисица на камнях — Карашолак не промахнется, лисица в кустах — гонщик на него выгонит!

И очень довольный тем, что окончательно обозлил Жабая, он повернул коня и тронулся в путь.

Жабай не на шутку обиделся. Взглянув вслед Абаю, он пощелкал языком, покачал головой и, нахмурившись, обратился к Жиренше:

— Чего он тут наговорил? Если он сын Кунанбая, так и мой отец не кто-нибудь, а Божей! Он — Абай, но и я — Жабай, чем я хуже его? Как он посмел так разговаривать?.. А все этот Карашегир, все из-за него!..

Он говорил, раздражаясь все больше. Жиренше не поддерживал его, но и не возражал ему. Он никогда не принимал всерьез охотничьих размолвок, — как ни переругаешься на охоте, все это в конце концов игра, шутка. Но обида Жабая его встревожила. Некоторое время он ехал раздумывая, потом вдруг усмехнулся, ткнул плетью в бок Абылгазы и сделал ему знак отстать.

Жиренше давно славился как мастер всяких каверз. Умный и красноречивый, искусно владеющий речью, он уже стал одним из самых влиятельных лиц в своем многолюдном Котибаке. Знали его не только там — и в Чингизской волости и в соседних племенах — в Мамае, Керее, Уаке, куда Абай брал его всегда с собой и где старался добиться для друга такого же признания и уважения, каким пользовался в этих местах сам. Но даже при разборе сложных и важных споров Жиренше то и дело подстраивал всякие шутки и любил ставить других в смешное положение. Неистощимый на насмешки и выдумки, он порой напоминал беркута, играющего с лисицей.

И сейчас он задумал новое развлечение. При умелой игре он мог оставить в дураках и Жабая и Абая, а они оба казались ему стоящей дичью. Откинувшись в седле, он усмехался и щурился, заранее предвкушая удовольствие, которое доставит ему его выдумка. Негромко, почти шепотом он посвятил в нее Абылгазы:

— Жабай злится сейчас справедливо. Абай его больно задел, вел себя, как будто он выше Жабая. Нам с тобой надо теперь отомстить за Жабая. Одному мне не справиться, — я такой же орлятник, как ты мулла. Мне Абай не поверит — он хитрее Жабая. А если ты поможешь, мы вдвоем так его высмеем, что отучим чваниться своим Карашолаком!

Абылгазы заколебался — он любил Абая, и давно искренне дружил с ним.

— Не стоит, — возразил он. — Абай обидится, да его и огорчит, что я тебе помогал…

Но Жиренше рассмеялся:

— Ведь не о девушке речь идет, а о какой-то птице! Это Жабай может дуться на шутки по своей тупости, а Абай умнее. Да и на что ему обижаться? Мы только устроим ему подвох с его Карашолаком, чтоб не хвастался…

— Ойбай, разве обманешь Турганбая? — воскликнул Абылгазы. — Он все нутро у птицы насквозь видит, чтоб ему ослепнуть, его не проведешь!..

Но Жиренше все обдумал.

— Конечно, птиц он знает, но ума у него маловато и нрав упрямый, — попадется! Ты хорошенько присмотрись к беркуту, к его состоянию, к уходу за ним — и рассказывай мне, а я уж знаю, что делать. Я им обоим — и Турганбаю и Абаю — шею согну, как трехлеткам, попавшим на аркан! Покатятся они у меня, как перекати-поле!

И Жиренше подробно рассказал Абылгазы свой коварный замысел.

Тем временем Абай и его спутники вернулись опять к Киргиз-Шаты. Ербол заикнулся было о том, что пора возвращаться прямо к шалашам, чтобы попробовать наконец куырдак из мяса убитого утром архара, но Турганбай возразил:

— Нынче я недоволен Карашолаком, надо выпустить его еще раз. Поедем к шалашам, — выезжать снова будет поздно, зря потеряем конец дня… Едем к Киргиз-Шаты! — И он выслал Баймагамбета вперед в ущелье.

Но Карашолак до самых сумерек не взял новой добычи. Его дважды спускали на лисиц, которых выгонял Баймагамбет, но беркут летал лениво. Он кидался в разные стороны, терял их из виду, и, пользуясь его медлительностью, одна лисица спаслась в нору, а вторая спряталась в расщелине камней.

Никто из охотников не мог понять, что случилось с ним, — ведь раньше он легко брал по три лисицы, а два дня—и по четыре. «Наверное, уход за ним не тот!.. Обессилел он, что ли? Неужели на третью лисицу его не хватило?» — терялись они в догадках. Все четверо поочередно осматривали Карашолака. Беркут сидел нахохлившись и смотрел настороженным взглядом. Кличка его—«черный-куцый» очень подходила к нему; когда он сидел, вобрав голову в плечи, то в ширину казался больше, чем в длину, и напоминал черный чурбан, которым забивают в землю колья.

В шалаше Абая ждали гости—Жиренше и Абылгазы. Они объяснили, что повздорили с Жабаем и решили охотиться здесь.

Как только Карашолака внесли, Жиренше тихонько подтолкнул Абылгазы. Тот взял беркута на руку, долго гладил его, незаметно прощупывая мышцы, и расхваливая птицу, то и дело наводя разговор на то, какую она прошла выучку. Так как не следовало задевать самолюбия Турганбая, Абылгазы ни словом не обмолвился о сегодняшней неудаче беркута, о которой он уже знал со слов Абая.

В теплом, удобном шалаше разожгли костер, и Абай от всей души потчевал гостей фамильным чаем.[37] Раза два он сам обращался к Абылгазы с просьбой еще раз посмотреть беркута и передавал ему Карашолака на руки. Но каждый раз Абылгазы говорил совсем не то, чего добивался Абай, он лишь расхваливал птицу и восхищался ею. Абай наконец не выдержал:

— Что ты все болтаешь о его породе? Скажи лучше, отчего он сегодня вел себя так? Какой, по-твоему, нужен ему уход, как бы ты кормил его?

Абылгазы не поддался.

— Э, неужели Тургакен не знает? Тургакен знает лучше меня… — ответил он уклончиво.

Что касается Турганбая, то ему совсем не нравилось, что Абай советуется с Абылгазы насчет кормежки птицы. Он оторвал ляжку у одной из убитых нынче лисиц и, сев в стороне, начал готовить корм для беркута. Абылгазы внимательно следил, чем именно собирается орлятник кормить своего питомца.

Турганбай готовил птице свежее кровавое мясо — так кормят истощенных, обессилевших беркутов. Значит, Турганбай считал, что Карашолак начал худеть. Казалось, так оно и было: Абылгазы, тщательно прощупав во время разговора мышцы Карашолака, тоже не обнаружил жира ни на ляжках, ни на груди, ни под хвостовыми перьями. Но под крыльями гибкие, необыкновенно чуткие пальцы Абылгазы прощупали тоненький слой жира, не замеченный Тур-ганбаем, — тот легко мог принять жир за концы маховых перьев.

Из беседы о сегодняшнем дне Абылгазы знал, как летал нынче беркут. Ему давно уже было понятно, почему Карашолак так плохо подымался к вечеру в воздух и почему вышла такая неудача с третьей и четвертой лисицами: беркут был слишком упитан, и голод не гнал его за лишней добычей.

Давая беркуту свежее, не отжатое от крови мясо, Турганбай поступал совсем неправильно: это должно было только ухудшить поведение птицы, могло даже совсем испортить ее. Жалея Карашолака, Абылгазы готов был сказать правду. Но Жиренше, поняв, что Абылгазы выведал о птице все, что нужно, и опасаясь, что он не выдержит игры до конца, встал с места и, подойдя к товарищу, незаметно ущипнул его за ногу.

— Дай-ка я тоже посмотрю его, — сказал он и взял беркута. Небрежно погладив его, он тут же отдал его Абаю и решительно заключил — Птица хорошая, только вы за ней плохо ухаживаете!

Турганбай резко повернулся к нему, но смолчал и снова занялся приготовлением корма. Абай, заступаясь за обиженного орлятника, начал подсмеиваться над Жиренше:

— Тебе, видно, люди голову вскружили? «Жиренше разберет, Жиренше знает…» Ты решил, что и в птицах много смыслишь? То, что ты о них знаешь, не только Турганбаю — и мне известно! Не мудри, лучше пей чай и сиди спокойно!

Жиренше и тут нашелся:

— Где уж нам знать! — протянул он с усмешкой. — Мы русских книг не читаем… Конечно, там все написано: «Абай должен ухаживать за своим беркутом вот так и так…» Не знаю только, кто об этом написал—Пошкин или Тулстой, о которых ты вечно твердишь, тебе лучше знать… Ну что ж, будем молчать… Пойдем, Абылгазы, скажем, чтоб наших коней пастись отвели!

И он вышел из шалаша вместе с другом. Оставшись с ним наедине, он подробно расспросил его, что с беркутом. Когда они вернулись, Жиренше увидал, что орлятник в раздумье смотрит на кровяную лисью ляжку, как бы сомневаясь, давать ли ее беркуту, а Абай пристает к нему с расспросами, что это за корм. Турганбай неохотно ответил:

— Ойтамак…[38]

Может быть, он хотел этим сказать, что над сегодняшним кормом надо подумать, либо просто хотел отделаться от надоедливых расспросов. О таком корме Абай никогда не слышал и продолжал расспрашивать его. Пользуясь этим, Жиренше быстрым шепотом спросил Абылгазы:

— Говори скорей, как он завтра полетит, если съест это?

— Схватит лисицу, но выпустит ее, — так же шепотом ответил тот.

Жиренше растянулся на переднем месте, подложил под голову подушку, поглаживая густую рыжую бороду и посматривая на Турганбая, который продолжал думать. Потом он сказал твердо и уверенно:

— Ну что ж… Пусть поест этого ойтамака… Только поглядите, если я ошибусь: завтра он схватит лисицу, но удержать не сможет!

И он закрыл глаза, делая вид, что отдыхает в ожидании ужина, и следя за Турганбаем из-под опущенных век.

Тот действительно сомневался, то ли дает он нынче беркуту, и собирался посоветоваться с Абылгазы, которому очень доверял. Но, услышав предсказание Жиренше, он обозлился на самоуверенность жигита и сгоряча отдал Карашолаку весь приготовленный корм. Когда беркут наелся досыта и зоб у него раздулся, Жиренше укрылся с головой шубой и, ущипнув лежавшего рядом с ним Ербола, беззвучно расхохотался. Именно на вспыльчивости Турганбая и был построен весь расчет Жиренше. Он нарочно вел себя против всяких охотничьих правил, стараясь раздразнить орлятника и сбить его с толку: ни один настоящий охотник не скажет орлятнику, изо дня в день воспитывающему беркута: «Не корми так, испортишь птицу!»

Наутро, когда хозяева собрались на охоту, Жиренше и Абылгазы поехали с ними. На этот раз дичь не попадалась, только под вечер одному из жигитов Жиренше удалось спугнуть лисицу с заросшего кустарником склона. Жиренше не разрешал спускать на нее своего беркута, сидевшего на руке Абылгазы, и уступил очередь Карашолаку. При виде лисицы тот рванулся с руки Турганбая, в одно мгновение настиг ее и ринулся на свою жертву.

Увидев его стремительный полет, Абай поддразнил Жиренше:

— Смотри, как пошел! Посмотрим — что твое предсказание!..

— Посмотрим, — насмешливо ответил тот, поглядывая на птицу. — Пока что ты еще не приторочил лисицу к седлу, не хвались заранее…

Лисица была уже близко от кустов тальника, когда Карашолак упал на нее камнем. Тяжестью его тела лисицу прижало к земле.

— Взял! Придавил! — закричали Абай и Ербол и поскакали вперед. Жиренше и Турганбай помчались за ними.

Лисица, извиваясь в отчаянных усилиях, сбросила с себя Карашолака и поволокла к кустам, стараясь вырваться из его когтей. Когда всадники были уже совсем близко, Карашолак, не в силах удержать яростно боровшуюся лисицу, разжал когти и выпустил ее. Шатаясь от боли, она обежала кругом куст и только тогда, будто опомнившись, кинулась в тальник и исчезла.

Абай и Ербол с досады хлопнули себя по бедрам и осадили коней. Жиренше не сказал ни слова. Он просто раскачивался взад-вперед в седле и ухмылялся. Турганбай никак не мог обвинять ни птицу, ни себя: он, как и Жабай накануне, все сваливал на кустарник.

— В Карашолаке течет кровь Жанбаура, — упрямо твердил он. — Кто был лучшим знатоком этой породы, чем Уали-тюре? А ведь и он говорил: «От когтей Жанбаура лисице не уйти, но в кустарнике он и не начнет с ней боя…»

Успокаивали ли эти выводы его самого — сказать было трудно.

Охоту на этом кончили — лисиц больше не попадалось, и скоро все вернулись к шалашам. Жиренше всю дорогу злорадно издевался над Абаем, что тот сам не знает своей собственной птицы.

Абылгазы снова проверил обнаруженный им вчера слой жира под оперением крыльев: он прощупывался лучше. Оба заговорщика зорко следили за тем, как теперь будет кормить беркута орлятник.

Турганбай решил два-три дня не менять корма. Если беркут начнет жиреть, это выяснится в ближайшее же время и тогда добиться похудения будет нетрудно. Самое опасное в ожирении—это не определить его сразу: ошибка в семь — десять дней может совсем испортить птицу. Взвесив все это, Турганбай, желая проверить, не жиреет ли Карашолак, стал и нынче кормить его своим «ойтамаком».

Жиренше, снова расспросив Абылгазы, как отзовется это на поведении птицы, дождался, когда Турганбай кончил кормежку, и потом, как и вчера, высказала свое мнение. Сегодня он говорил еще уверенней.

— Завтра Карашолак даже не схватит лисицы. Мимо пролетит, — лениво растягивая слова, заявил он.

Абай даже рассердился:

— Болтай, болтай… Бесы тебе подсказывают, что ли? Вот и в Киргиз-Шаты свой баксы[39] объявился!.. Завтра Карашолак себя покажет, вот увидишь!

Жиренше, как и вчера, повернул спину, накрылся шубой и не стал спорить, добавив только:

— Ну, коли так, знайте: неделю теперь ваш беркут ни одной лисицы не возьмет!

На следующее утро охотники в нетерпении выехали раньше обыкновенного. Но и сегодня дичи не попадалось, только к вечеру они спугнули лисицу. Предсказание Жиренше сбылось в точности: Карашолак стремительно пошел на добычу, настиг ее, но, не опускаясь, пролетел мимо и сел на ближайший камень.

Жиренше добился своего: Абай, Ербол и Турганбай были совершенно растерянны. Он кликнул жигита-гонщика и, даже не простившись с Абаем, крупной рысью направился к своей стоянке. Он позвал с собой и Абылгазы, но тот, не желая больше принимать участия в издевках над Абаем и его друзьями, остался с ними.

Когда Жиренше скрылся из виду, Абылгазы обратился к Турганбаю:

— Обидел ты Карашолака. Отдай мне его на три дня, я поправлю дело. Брось упрямиться…

Теперь и Абай понял ошибку Турганбая…

— Послушайся его, не стой на своем… Оба мы с тобой виноваты — нечего было на себя надеяться, — сказал он орлятнику.

Три-четыре дня, пока Карашолака приводили в прежнее состояние, Абай не выходил из шалаша. Он хорошо понял, что Жиренше все это подстроил нарочно, чтобы наказать его за самомнение, но не сердился на него и не собирался мстить. Ему было просто стыдно за свое упрямство.

На охоту он захватил с собой целый коржун книг. Приказав топить в шалаше потеплее и готовить из свежей дичи куырдак он принялся за чтение.

Вскоре Турганбай и Абылгазы объявили, что Карашолак выправился, и начали охоту. Однако дичи они привозили немного, — за четыре дня, пуская двух гонщиков, нашли только двух лисиц.

Посовещавшись, они пришли к Абаю с решением. Из этих мест пора откочевывать, лисиц здесь не осталось, надо перебираться в горы Машан. Добраться туда по бездорожью среди холмов было нелегко, но зима еще только начиналась, снег был не так глубок. Стрелок Бекпол присоединился к ним: его занимали архары и олени, которых он бил из ружья, но ни тех, ни других поблизости не осталось. Он утверждал, что и они ушли на зиму в Машан.

Машан не принадлежал к Чингизской волости. Там, на границе с землями рода Каракесек, проживала незначительная часть тобыктинцев, и Абай никогда не бывал в этих горах и не знал, кто там зимует. Дальний путь по незнакомым чужим кочевьям не очень-то привлекал Абая. Ему казалось, что, раз дичи больше нет, лучше всего вернуться прямо домой. Кроме того, начав снова читать, он совсем остыл к охоте. Но его друзья, неутомимые и страстные охотники, могли объяснить его отказ ленью и малодушием, и, пересилив себя, он решил пройти все трудности путешествия и закончить охоту в Машане. Оттуда он предполагал перевалить через Чингиз и выйти к своим зимовкам в Жидебае.

За один день добраться до Машана было невозможно. Поэтому они решили доехать до стоянок племени Оразбай в местности, называемой Карасу Есболата, находившейся на ближних отрогах Бугылы. Туда же должна была подойти к ночи и кочевка Абылгазы и Жиренше. «А оттуда наутро щелями Бугылы все вместе двинемся на Машан и засветло поставим там шалаши. Торопиться не стоит», — предложил Абылгазы.

Так они и договорились. Абылгазы уехал к своим шалашам, чтобы переночевать там и подготовиться к перекочевке.

На рассвете все три шалаша стоянки Абая были разобраны. Отправив поклажу с Турганбаем, Смагулом и остальными охотниками к стоянке Абылгазы, Абай решил ехать в Карасу напрямик. С ним поехали Ербол, Шаке и Баймагамбет.

К полудню четверо друзей начали спускаться в долину Ботакана. Здесь снегу было не много. Места эти всем хорошо были знакомы: сюда каждое лето прикочевывали аулы родичей Абая. Упитанные, выносливые, хорошо подкованные кони шли ровным быстрым ходом «булан куйрук».[40] Снег, выпавший в тихие дни и еще не схваченный морозами и ветрами, не успел затвердеть; пушистый слой его не слишком затруднял ход коней, но все же доходил им до щеток, и чтобы не утомлять их, всадники ехали гуськом. Головным был Шаке: несмотря на свою молодость, он считался признанным наездником и к тому же два раза подряд бывал здесь на охоте и хорошо знал эти места.

С утра было туманно и мглисто. Потом начало проясняться; туман, скрывавший высокие горы, рассеялся, но солнца не было видно, — по серому небу бежали к северу облака, похожие на верблюжьи горбы. Стоял легкий морозец без ветра, даже не щипавший лица.

Абай, поручив племяннику вести их маленький караван, ехал, не обращая внимания на окружающее. Здесь, на Ботакане, проходило все детство. Его охватили воспоминания— радостные и горькие, счастливые и печальные.

В душе его ожило горячее благодарное чувство к умершей бабушке Зере и к матери Улжан. Абай сразу узнал ложбинку, где много лет назад стояла белая юрта. Здесь, на этом самом месте, скрытом сейчас снегом и безлюдном, родные впервые признали его взрослым. Это было в то утро, когда он и Ербол вернулись с поминального аса Божея и повалились в постель, изнуренные хлопотами и обессилевшие от бессонных ночей. Едва он проснулся, две его золотые матери впервые в жизни поднесли ему, еще мальчику, голову барана — знак уважения и почета. Они подали ему блюдо с пожеланиями «всякого блага юному сыну, ставшему уже взрослым…»

Абаю казалось, что он видит перед собой свою старую бабушку, — стоит лишь зажмурить глаза и протянуть руку, как он прикоснется к ее маленьким, скрюченным старостью пальцам; он чувствовал, как эти пальцы гладят его голову… В горле у него перехватило, на глаза навернулись слезы, и он едва слышно прошептал поминальный текст из корана, проведя ладонями по лицу.

Религиозные люди совершают поминальные чтения либо на могилах, либо в установленные правилами дни. Абай читал молитву о бабушке там, где, как сейчас, его окружали воспоминания и где тоска о ней особенно сильно одолевала его. Он обернулся и долго смотрел на Карашокы и горы Казбала, оставшиеся позади. «Надо хорошенько запомнить, как выглядят они зимой», — подумал он.

За этим воспоминанием знакомые места пробудили еще одно — о незабываемом и далеком..

В низких облаках мелькнул, казалось, облик Тогжан— юной, улыбающейся, цветущей… Вон на той сопке Ербол принес ему радостную весть… Вспомнилось все — и ночная поездка и возвращение, встреча с Тогжан после долгой разлуки, объятия в зарослях Жанибека, лунный свет… Прошлое с его дыханием, шепотом, тонкими, едва уловимыми звуками проснулось в душе Абая. Поглощенный колеблющимися, печальными и томящими душу видениями, Абай не понимал, где он и куда едет. Он впал в какое-то долгое забытье. Закрыв глаза, он как будто читал книгу своей несбывшейся мечты, написанную кровью его сердца. Все для него исчезло. Он не замечал, как проходит время.

И вдруг жизнь прорвалась в мир его тоскливых мечтаний. Он вздрогнул — будто прервали его сон в объятиях любимой — и очнулся.

Конь стоял на месте, товарищи тоже остановились. Дул сильный ветер, шел снег, закрывая небо и землю сплошной белесоватой мглой, занося путников, ставших спинами к ветру. Для Абая было неожиданностью, что погода изменилась.

— Поземка, что ли? — спросил он Шаке.

— Не пойму, — ответил тот. — Прямо ураган какой-то! Снег и сверху идет и с земли взвивается…

— Только бы не заблудиться… Ты уверен, что едешь правильно? Не потерял направления? — настойчиво спрашивал Абай.

У Шаке не было уверенности. Он и остановился для того, чтобы посоветоваться с товарищами.

— Я не заметил, с какой стороны подул ветер, — смущенно признался он. — Пошли знакомые места, где мы кочуем летом, я задумался и забыл об этом… Кажется, дует прямо с Карасу Есболата…

И юноша выжидательно посмотрел на Абая, предполагая, что тот, как более взрослый, давно определил направление ветра. Но к общему удивлению Абай спросил:

— А когда поднялся ветер? Я заметил его только сейчас, когда мы остановились…

Он будто только что проснулся.

Раскрасневшийся от мороза Баймагамбет расхохотался. Оказалось, что из всех четверых он один вовремя определил, как нужно ехать, чтобы ветер, единственный указатель пути в буран, помогал им держаться нужного направления.

— Надо ехать так, чтобы ветер был встречный, но дул немного справа, — убеждал он.

Шаке ему не поверил.

— Тебе кажется, что ветер должен дуть сбоку, а я вот думаю, что он должен дуть прямо в лоб коня, — возразил он.

Поднялся спор. Наконец Шаке обратился к старшим:

— Если мы еще постоим здесь, то вовсе с пути собьемся. Или ведите нас сами, или поручите мне! Я убежден, что чадо ехать против ветра!.. Решайте быстрее, надо двигаться!

Шаке показался Абаю более уверенным и знающим, чем все остальные, не исключая и его самого. Он больше не колебался.

— Ну, дорогой мой, ты проворнее и живее всех нас, будь что будет — поедем за тобой! Веди!..

— Тогда поехали! Держитесь за мной! И хорошенько укутайтесь, завяжите потуже тымаки, пожалуй, подымется настоящий буран.

Шаке повернул против ветра своего темно-серого и, хлестнув заупрямившегося коня, с места взял крупной рысью.

За ним двинулся Абай, нахлобучив тымак до бровей и запахнув полы. Круп темно-серого был широк, как опрокинутая миска для кумыса, и Абай, не сводя с него глаз, ехал вплотную за Шаке, шаг в шаг. Буран сомкнул за ними свои объятия, и четыре всадника, оторванные от всего мира, ринулись в клокочущую белую мглу, все дальше уходя в безлюдную степь.

Шаке долго ехал не останавливаясь. Встречный ветер со свистом заносил их снежной пылью. Мороз заметно усилился. Снег шел уже не маленькими мягкими хлопьями, как в начале поездки, а больно бил по лицу твердыми крупинками. Ехать против ветра стало трудно.

Темно-серый конь Шаке все оглядывался на бежавших по его следу коней, точно пытаясь спрятаться за них. Чуть ослабевал повод, он круто поворачивал голову. Порывы ветра, дувшего прямо в лоб, отбрасывали его челку, пронизывали и кололи, будто волосок за волоском выдергивая шерсть. Шаке видел, что его коню нелегко бороться с ветром, но, боясь, что, уклонившись от ветра, собьется с пути, часто опускал камчу на его бока, чего раньше никогда не случалось.

Скоро Абай заметил, что его саврасый сам идет за конем Шаке, будто прилипнув к его хвосту: умное животное поняло, что, если отстанет, ветер сильнее будет бить ему в лоб. Но самого Абая передний всадник не спасал от бурана. Скоро усы, борода и даже ресницы Абая совсем побелели. Он низко склонился к луке седла, но и это не помогало. Ветер, поддувая под лисий тымак, нестерпимо колол виски, а когда Абай, пытаясь уклониться от него, отворачивал голову, буран кидал ему за шиворот целые охапки снега.

Холод начал одолевать его. Боясь обморозить лицо, Абай стал растирать его руками, но мороз тотчас защипал кончики пальцев, и Абай с трудом удерживал в руках поводья и плеть. Все время меняя посадку, то сгибаясь вправо и влево, то склоняясь к самой гриве коня, Абай окончательно выбился из сил. Ветер, задувавший под шапку, невыносимо холодил виски, руки закоченели, Абай не мог больше справиться даже с полами, — как он ни старался запахнуться покрепче, ветер снова раздувал их в стороны.

Несмотря на твердое решение не показывать другим своего изнеможения, он не выдержал и крикнул Шаке, чтобы тот дал отдохнуть.

Едва они остановились, кони сами повернулись хвостами к ветру и опустили головы. Всадники спешились и стали возле коней, стараясь защититься от ветра.

— Ну и ну, вот это буран! — сказал Ербол.

— Хорошо, если скоро утихнет, иначе дело плохо… Против ветра и смотреть невозможно, — поддержал Абай, глядя на кружащиеся снежные вихри.

Все вытащили из карманов платки и крепко повязали под шапкой лоб. Баймагамбет, как всегда, не унывал:

— Утихнет, не теряйте терпения!

Закаленный, выносливый Шаке, багровый от мороза, казался крепче других. Он решительно сказал:

— Если мы ошиблись в направлении ветра, значит мы заблудились вовсе, и тут уж ничего не поможет. А если мы едем правильно, то к вечеру доберемся до Карасу Есболата. Так и этак—стоять не приходится! Нужно ехать как можно быстрее, мороз не станет легче, если потащимся шагом. Надо твердо решиться, Абай-ага! — заключил он и, подтянув подпругу, вскочил в седло. Остальные молча сели на коней.

Время шло, а путники, все двигались вперед, стараясь не сбавлять крупной рыси. Разъяренный ветер со свистом бил порывистыми ударами. Им казалось, что они оглохли от этого непрерывного пронзительного воя, протяжного и угрожающего, будто стая степных волков перекликалась сквозь метель, ища укрытия или горячей крови.

И эта была родная степь Абая!.. Безлюдная, гудящая снежной пургой, она казалась ему теперь безжалостной и жестокой мачехой. Вот эти жайляу, покрытые молодой зеленью, были золотой колыбелью его детства. Теперь от них веяло холодом смерти. Они казались раскрытой заледеневшей могилой, ожидающей жертвы.

Нет ни земли, ни неба, ни гор, ни холмов, ни долин. Только плотная снежная мгла, вой ветра и четыре коня… Весь мир сжался в комочек, его можно захватить в горсть… Того, что происходит кругом, Абай не может выразить по-казахски — ему вспоминаются два слова, вычитанные в русских книгах: хаос и стихия… В какой-то книге было сказано, что весь мир образовался из такого вихря и бури… пляшет вода, когда кипит, так бушует море, вздымая огромные волны и кидая белую пену, вновь поглощаемую пучиной… И тому, кто ныряет в таких волнах, ежеминутно ожидая смерти, мир тоже должен казаться не больше горсти…

Вдруг ветер сразу затих, будто оборвался. В Абае проснулась надежда. «Наконец-то!.. Неужели кончилось?.. Видно, я чем-то заслужил спасение…»

Шаке натянул поводья и осадил коня. Остановились и все остальные.

— Кажется, стихло! — радовался Шаке. — Погода сама идет к нам на помощь!.. Но где мы?

Снег продолжал идти, но падал уже не крупинками, а мягкими хлопьями, сквозь него ничего кругом не было видно. Путники поехали шагом, давая передышку коням и совещаясь, как быть дальше. Короткий зимний день подходил к концу. Определить, где они сейчас находятся, было невозможно.

Все-таки все с надеждой оглядывались по сторонам. То и дело им мерещились то чернеющие зимовки, то пасущийся скот, но, вглядываясь пристальней, они перестали понимать, что это такое.

— Что там виднеется? А это что темнеет?.. Кажется, мы что-то оставили позади!.. — указывали они то в одну, то в другую сторону, но каждый раз обнаруживалось, что вечерняя мгла и снежная пелена вновь обманули их: темнеющая зимовка превращалась в вылезший из-под снега камень, черные точки, которые они принимали за пасущийся скот, — в верхушки тальника или тобылги.

Путники снова потеряли надежду. Они никак не могли определить, где они едут, хотя буран стих. Баймагамбет, с самого начала не соглашавшийся с доводами Шаке, теперь был совершенно уверен, что тот ошибся в направлении: при такой быстрой езде они давно должны были выехать к Карасу Есболата. Он повторял это всякий раз, когда они проезжали мимо какого-нибудь оврага, ложбинки или речного русла.

— Совсем не похоже на окрестности Карасу! Там ковыльные холмы, каменистые сопки или пологий хребет, а здесь вся местность низменная, луговая, изрыта речками и родниками… Мы далеко уклонились в сторону! — твердил он.

Маленькая кучка всадников продолжала двигаться, полная сомнений. Солнце село, стало совсем темно. Они ехали в неизвестность. Чтобы дать хоть небольшую передышку коням, остановились у какого-то водопоя и пустили коней искать под снегом корм. Абай с трудом слез с седла и повалился на землю, не разбирая места. Он попробовал посоветоваться с Ерболом, но тот тоже не мог сказать ничего утешительного. Однако даже усталость и тревога не сломили его.

— Брось ты ломать голову, — сказал он шутливо. — Мы с тобой замечательно находим дорогу по тракту, но в непогоду, да еще темной ночью — нам ли с тобой разыскивать одинокий шалаш, крохотный, как клубочек шерсти! Найти его в голой степи не легче, чем иголку в густой траве… Уж лучше не мешай Шаке!

Когда они опять сели на коней, притихший было ветер снова угрожающе загудел. Буран, и днем ревевший замогильным воем, снова начал свирепеть. Мороз становился все крепче и крепче. Скоро ои совсем вывел путников из терпения. К холоду прибавился голод, — с утра они ничего не ели. Бесконечный путь тянулся и тянулся. Абай почувствовал, что весь продрог, и крикнул ехавшим сзади:

— У меня ноги закоченели! Никогда не знал, что при верховой езде мерзнут ноги… А как ты, Баймагамбет?

Тот тоже совсем застыл.

— Не лучше ли остановиться и вздремнуть немного? — предложил он.

Все снова остановились и стали совещаться. Мир опять замкнулся вокруг четырех конских голов. Лошади тоже были изнурены и, видимо, мучились вместе с людьми.

Шаке предложил поискать, где укрыться, хоть бы за камень какой-нибудь. Ербол махнул рукой:

— Где мы тут камень найдем? Предадим свою судьбу богу и ляжем тут же под защитой коней…

Все улеглись прямо на снег, тесно прижавшись друг к другу.

Холодный ветер тревожно завывал в ушах, будто злая метель решила не успокаиваться до тех пор, пока не отомстит за что-то измученным путникам. Абай лежал, припав головой к коленям Ербола. Ему казалось, что тело его непрерывно вертится. Этот снежный вихрь, закрутил их вместе с лошадьми, со всей землей, превратившейся в холодный комочек и несет куда-то, как перекати-поле… Кружится голова, тошнит, в ушах не смолкает назойливый гул. Действительность исчезает, как в бреду, мысли путаются… Абай впал в тяжелое забытье…

Они не знали, сколько времени продолжался их сон. Первым пришел в себя Ербол и стал тормошить остальных:

— Эй, жигиты, вставайте!.. Сон—враг наш! Очнитесь, не сдавайтесь!

Разгребая заваливший их снег, все вскочили на ноги. Стояла глубокая ночь. Абай застонал:

— Не помню, чтобы когда-нибудь я так закоченел, мороз до костей пронизывает…

Он стал ходить взад-вперед, сильно топая ногами. Младшие тоже продрогли. Разгоняя кровь, они принялись стряхивать плетьми и рукавами снег, густо покрывший коней, точно овечьей весенней шерстью.

— Спорить теперь нечего: мы заблудились, — решил Ербол. — Ну что ж, поедем куда-нибудь, только крупной рысью, хоть согреемся!

Все с трудом сели в седла и двинулись дальше. От быстрой езды всадники действительно начали согреваться. Они ехали долго. Наконец, едва просвечивая сквозь снежную мглу, медленно встало утро. Путники молчали. Но в душе каждый надеялся, что с наступлением дня буран уляжется. Шаке, жалея лошадей, перевел их на мелкую рысь.

Время подошло к полудню. Свет солнца едва пробивался сквозь пелену бурана, который так и не прекращался.

Потянулся второй мучительный день блужданий по взбесившейся буранной степи.

Путники ехали по незнакомым оврагам, холмам, буграм, каждый час останавливаясь, чтобы подкормить коней и дать им отдых. И на каждой остановке все думали об одном и том же. Наконец они решили изменить взятое направление и ехать так, как посоветовал Баймагамбет, — чтобы ветер дул сбоку.

Абай чувствовал, что он совсем болен. Тело, продрогшее за ночь, порой согревалось, но внутренний озноб не проходил. К вечеру, когда они остановились передохнуть, Абай уже с трудом слез с коня и повалился возле небольшого камня.

Он был совершенно разбит, весь одеревенел от мороза. Ему казалось, что подняться он не сможет, — земля притягивала к себе, как магнитом. Неужели близится час, когда исчезнет всякая надежда на жизнь?.. Но почему тогда душа его странно спокойна, почему мысли о конце, о смерти не страшат его?.. Наоборот, что-то в нем покорно твердит: «Ну и пусть конец, пусть скорей приходит…» Вчерашние воспоминания, оборванные бураном, вновь всплыли в его мозгу: образ ласковой, как солнце, милой его бабушки Зере—и его Тогжан…Тогжан, не забываемая до последнего дыхания, в последний миг его жизни стоит перед его взором, единственная, светлая, как полная луна, улыбающаяся, дорогая… Видя перед собой эти два милых лица — умершее и исчезнувшее, — Абай лежал без сна в тяжелом раздумье. Неужели это и есть последнее прощание с ними?..

Вдруг ему показалось, что он слышит громкий человеческий голос. Он вздрогнул, но, решив, что бредит, не отозвался на крик. Товарищи, скорчившись, спали возле него. Потом голос послышался снова. Теперь Абай ясно различил: это был и вправду человеческий голос.

Он вскочил, ему показалось, что он совсем здоров. Встав во весь рост, он трижды громко и протяжно крикнул в ответ. Измученные кони подняли от земли головы и насторожили уши. Ербол и оба юноши, разбуженные внезапным криком, испуганно вскочили.

Ербол кинулся к Абаю.

— Что случилось, Абай, почему ты кричишь? — спросил он, с тревогой заглядывая в лицо друга и думая, что тот бредит. Но Абай возбужденно ответил:

— Кричите! Я только что ясно слышал человеческий голос, кричите громче!

Ветер выл с прежней силой. Все четверо закричали вместе и прислушались. Им показалось, что с подветренной стороны в буране движется какое-то темное неопределенное пятно. Они снова закричали. Донесся глабый отклик. И вдруг из крутящегося бурана, из белого хаоса на них вынесся верховой, не перестававший кричать. Крупный, высокий жигит сидел на белом коне и сам был весь выбелен снегом. В поводу он вел второго коня.

— Эй, живы ли вы? Где вы тут, милые мои? — весело крикнул он, спрыгивая с коня.

Абай первый узнал его голос.

— Абылгазы!.. Да сбудутся твои желания, откуда ты? — И он порывисто обнял друга. Это действительно был Абылгазы.

— Как откуда? Вас разыскивал… Милосердный боже, пошли нам всегда такую удачу!.. Разве мог я надеяться отыскать вас в такую погоду? Я просто на месте сидеть не мог — помчался, чтобы себя успокоить… Вы обессилели, наверное? Не поморозились? Как лошади? Еще держатся?.. Ну, садитесь, дотемна разыщем жилье!

Веселый его голос ободрил измученных путников и как будто придал им сил. Они торопливо сели на коней и тронулись за Абылгазы.

Оказалось, они находились у склона Машана. Теперь впереди поехал Абылгазы, ведя за собой остальных. Ербол, переговариваясь с ним, держался рядом. Абай, вконец измученный, пустил своего саврасого вплотную за ними. Он не мог понять, здоров он или болен. Тело его ныло, как избитое. Временами ему казалось, что он стоит на месте, а горы и скалистые камни бегут мимо. Он блуждал где-то между явью и забытьём, мысли его путались, мозг отказывался управлять ими. В минуты, когда мысли прояснялись, он старался разобраться в этом тумане ощущений. «Сон меня одолел, что ли? Или я и вправду заболел?» — думал он.

Порой до его сознания долетали разговоры друзей. Ербол спрашивал у Абылгазы:

— Но как ты сумел разыскать нас? Свыше тебя осенило, что ли? Разве обыкновенный человек отважится на поиски в такой буран?

— Уж и не говори… Нынче я не человек, а волк из этой долины!

— Так ведь и волк не выходит в буран на охоту, просто кидается на первую попавшуюся добычу…

— Я думаю, что меня душа вела… Я дал себе слово загладить свою глупость на охоте: Абай, пожалуй, единственный человек во всем Тобыкты, кого мне тяжело огорчать… Утром я видел, как вы подымались к Ботакану, и, когда начался буран, сразу понял, что вы непременно заблудитесь. А мы вовремя доехали до Карасу, всю ночь кричали, чтоб вы поняли, где мы. Утром я отправил наше кочевье к Машану, а сам весь день рыскаю за вами.

— Где же ты думал нас найти?..

— Поехал наугад… Я надеялся на то, что если вы будете держаться одного направления, то когда-нибудь поймете свою ошибку и, подумав хорошенько, свернете на правильный путь. Если так, думал я, то они выйдут к склонам Бугалы или Машана. Вот я и колесил тут целый день между горами… Перед сумерками напал на ваш след и погнался за вами, но там, где снегу мало, буран совсем замел следы.

Ну, я и взял на глаз направление и помчался вскачь, подавая голос… Недолго так скакал — чай вскипеть мог за это время, не дольше…

— А ты не думал, что сам заблудишься?.. Нет, Абылгазы, ты не простой человек, ты по крайней мере баксы!

Абылгазы не рассмеялся. Он верил в гаданье на бобах и уверял, что это уменье перешло к нему от деда. Но свою способность находить нужное направление в степи он не приписывал никакому шаманству. Он действительно мог в самую дождливую ночь вывести на какой-нибудь единственный куст тобылги или метелку карагача, а зимой в любой буран ехать по степи целую неделю прямо, как пущенная стрела, и добраться до того места, куда хотел. Ерболу он раскрыл свой секрет.

— Вовсе я не баксы, — сказал он. — А не заблудился потому, что обучен одним слепым, нашим соседом Токпаем. Он всегда ходил один — и между аулами, и через горные перевалы, в любую погоду. Я все приставал к нему: «Как вы ходите один, Токау?» Он и ответил мне: «Тебе путь указывает дорога, а мне — ветер…» А в темную дождливую ночь или в белый буран — мы те же слепые токпаи. Тут нужно, во-первых, забыть, что у тебя есть глаза, во-вторых, — внимательно следить за ветром. Ну и, в-третьих, — кое-что соображать! Вот и все мое шаманство! — засмеялся он, остановил коня и, дождавшись, когда остальные подъехали, обратился к ним:

— Вот что, жигиты. Вы, я вижу, продрогли до смерти. Нашего шалаша мы сейчас не отыщем. Но в ущельях Машана всегда стояли зимовки родов Жуантаяк и Мотыш. Я надеюсь, что скоро мы наткнемся на какой-нибудь аул и найдем пусть не богатое, но теплое жилье, и вы хорошо согреетесь. В чей аул мы попадем, прямо скажу — не знаю. Говорят, в этом ущелье за последние годы построили зимовки несколько богатых аулов Мотыш, может быть, нам посчастливится наткнуться как раз на один из них. Во всяком случае, к ночи я вас доставлю в тепло!

Путники, изнемогавшие от холода, едва смогли ответить:

— Веди, веди!.. Да сбудутся твои слова!.. Доведи до какого хочешь жилья! Теперь мы выдержим!

Все отдали свою судьбу в руки Абылгазы.

Они долго ехали молча вдоль поросшего мелким леском ущелья. И вдруг до них донесся лай собак.

— Слава богу! Спасены!.. Ак-сарбас, о боже, ак-сарбас!..[41] — в шумной радости повторяли все.

Путники свернули на опушку, поросшую березняком и побелевшую от снега. Их встретил многоголосый собачий лай, эхом отдаваясь в горах. Абылгазы, подогнав коня, опередил остальных, поскакал к повороту и там остановился, поставив коня поперек пути. Абай и Ербол крупной рысью нагнали его и совсем близко увидели внизу красные огоньки освещенных окошек.

— Люди, люди!.. Аул, дорогой, милый!.. Аул!.. Не спит еще! кричал Ербол подъезжавшим Шаке и Баймагамбету.

— Окошек много, большая зимовка! Видно, богатый аул, наше счастье, жигиты! — радовался Абылгазы. Он, опять опередив других, доскакал до зимовки, спрыгнул с коня и принялся громко стучать в дверь первого дома.

Абай не помнил, как слез с коня. Поводья у него перехватил Баймагамбет. Тело не слушалось Абая, он остановился, не в силах сделать ни шага. Шаке взял его под руку. Кони, зимовка, снежная степь, весь мир — все кружилось перед глазами Абая, в ушах его так звенело, что он не мог расслышать, о чем говорили его друзья с двумя жигитами, вышедшими навстречу, лишь отдельные названия несвязно доносились до него: «Мотыш… Догал… Найман… Аккозы…»

Друзья повели Абая вслед за жигитами в просторный темный коридор. Где-то в углу открылась дверь, красноватый свет прорезал темноту. Послышался женский голос:

— Проведите в отау, в Большом доме уже спят, велели отвести туда…

Шаке и Баймагамбет под руки ввели Абая в просторную комнату. Их сразу обдало благословенным теплом, крепким запахом вареного мяса и овечьего кизяка, еще тлевшего в очаге. Один из жигитов, провожавших гостей, открыл дверь во вторую комнату. Светлая и уютная, она от самого порога была застлана расшитыми кошмами и полосатыми половиками. Абылгазы и Ербол вошли первыми и поздоровались с хозяйкой, стоявшей у кровати с костяной резьбой. За ними Шаке ввел Абая.

Едва тот переступил порог, взгляд его скользнул по красной занавеске с бахромой, полузакрывавшей кровать с множеством подушек и одеял, и остановился на хозяйке.

— Ох, душа моя! — вскрикнул он и зашатался. — Неужели эта она?

Молодая женщина, стоявшая между кроватью и печкой, была в белом платье и черном бешмете, в обычном головном уборе молодых невесток. Узнав Абая, она кинулась к нему, звеня тяжелым шолпы, вплетенным в волосы.

— Создатель… Это Абай? Боже мой, значит, суждено мне было увидеть вас!.. Родной мой! — говорила она, обняв Абая.

Ее шолпы зазвенело еще сильнее и затихло. Слушая его звон с закрытыми глазами, Абай стоял бледный, теряя сознание. Он прислонился к косяку двери, как будто боялся упасть перед молодой женщиной, всхлипывавшей у него на груди. Его колени дрожали, слабость разливалась по всему телу. Ему хотелось обнять ее, но руки не повиновались ему, и он только ласково гладил ее голову.

Говорить он не мог, что-то камнем застряло в горле и душило его. Ноги внезапно подкосились, и он упал у порога.

Ербол и Абылгазы бросились к нему и, доведя до переднего угла, усадили, прислонив к стене. Шаке и Баймагамбет, расстегнув ему пояс, начали снимать шубу.

— Я знал, что он болен, глядите, и сознание потерял, — тревожно сказал Шаке.

— О боже, что вы говорите? Он болен? — испуганно вскрикнула хозяйка.

Она быстро сняла с кровати подушки и горой заложила их за спину Абая. Расстегнув ему ворот бешмета, она присела рядом и приложила к его лбу руку, унизанную браслетами, растирая другой его грудь. Абай медленно открыл глаза, взял ее руку и приложил к глазам. Потом он прижал маленькую теплую ладонь к губам и молча поцеловал ее. Из глаз его капали крупные горячие слезы. Он чуть слышно заговорил — это были не слова, а шепот души:

— Моя Тогжан… Мне нечего больше желать… Пусть навсегда замрет мое дыхание возле тебя…

Он снова затих. Ербол, сидевший рядом с другом, только теперь узнал Тогжан.

— Милая моя, свет мой, что это он сказал?.. Неужели ты — Тогжан?.. — И он порывисто бросился к ней. — Я твой Ербол, золото мое.

Голос его прерывался, он всхлипывал. Тогжан, вся дрожа, подняла лицо, залитое слезами. Она крепко обняла Ербола и зарыдала, в отчаянии продолжая смотреть на Абая.

Двое жигитов, сопровождавших сюда гостей, давно уже недоуменно наблюдали все происходящее. Теперь, когда они увидели, что Тогжан так же радостно встретилась и с Ерболом, они успокоились, решив, что приезжие — близкие родственники невестки дома. Эти двое жигитов не принадлежали к семье мужа Тогжан: один из них был мулла, другой — дальний родственник из аула, которому всегда поручали уход за гостями. Разводя руками от удивления, они обратились к Шаке:

— Вон оно как! Значит, вы — родичи Тогжан!

— А мы-то думали, кто это решился ехать в такой буран!

— Ты только посмотри, как она соскучилась по родному аулу! Золотая колыбель не забывается!..

Абай и Тогжан, не сводя глаз, безмолвно смотрели друг на друга. Поговорить им не удавалось — к Тогжан поминутно подходили то старая стряпуха, то молоденькая келин, шепотом спрашивая распоряжений. Два молодых жигита внесли круглый складной стол и, поставив его посреди комнаты, перенесли на него лампу.

Абай продолжал полулежать на высоких подушках. Широкий его лоб, обычно скрытый шапкой, резко отличался своей белизной от обветренного лица, глаза покраснели и распухли. Он дышал прерывисто и хрипло, по телу пробегала дрожь лихорадки, лицо горело от жара. Но он, казалось, забыл о болезни и не сводил глаз с Тогжан, провожая взглядом каждое ее движение.

Тогжан была теперь еще красивее и обаятельнее, чем в те далекие дни. Каждая черта ее лица достигла своей совершенной красоты. Чуть приподнятый кончик маленького прямого носа придавал всему лицу покоряющую прелесть юной беспечности, хотя взгляд ярких глаз под крутыми длинными бровями стал строже, углубленнее и задумчивее. Вся она казалась воплощением одухотворенной красоты. Наложила ли на ее лицо свой отпечаток тоска несбывшихся надежд, или сковывала ее привычка скрывать свои затаенные чувства, — но в лице сегодняшней Тогжан не было уж той непрерывной смены выражений, которая когда-то так волновала и восхищала Абая.

Все кругом были заняты оживленными разговорами, но Абай и Тогжан, поглощенные друг другом, не слышали и не понимали их.

Ербол и Шаке наперебой с Баймагамбетом рассказывали мулле все подробности своей двухдневной пытки. Они объяснили, как попали в эти места и поразили хозяев рассказом о том, как Абылгазы разыскал их. Вскоре принесли чай. Тогжан подсела к столу и каждому, начиная с Абая, сама подала пиалу.

Абай с трудом приподнялся, но от сильной боли в висках у него закружилась голова, и он снова беспомощно упал на подушки. Сделав невероятное усилие, он все-таки сел, опустив голову и подперев ее руками. Лихорадка то бросала его в дрожь, то жгла огнем. В каком-то тумане до него донеслись слова Тогжан: «Выпейте чаю», — и он через силу заставил себя сделать несколько глотков. Все чувства притупились в нем, он не мог разобрать, холодный был чай или горячий, — он ощутил во рту только вкус ржавого железа. Не оставалось сомнений, что он тяжело заболел. Он отдал пиалу, и сидел молча, сжимая виски руками. Тогжан сильно встревожилась. Ербол внимательно посмотрел на друга.

— У тебя лицо горит, глаза слезятся, и вообще ты никуда не годишься, видно, здорово простудился, — решил он и посоветовал — Закутайся потеплее, надень шапку, выпей горячего чаю и ложись!

Тогжан быстро поднялась, помогла надеть на Абая шапку и шубу и подала ему вторую пиалу чаю, положив в нее полную ложку масла и придвинув сахар. Абай с большим трудом выпил.

— Не понимаю, что со мной… Голова болит нестерпимо, все кости ноют, вкус пропал… У меня, кажется, сильный жар, — сказал он и снова сжал виски руками.

Его тошнило, он не мог сделать больше ни глотка. И, точно торопясь высказаться, пока совсем не потерял сознания, он прошептал прерывающимся голосом:

— Создатель, за что такая кара, такое мученье… Быть больным в этот час… перед мечтой всей жизни моей.

Горе давило его душу тяжелее всякой болезни. Тогжан поняла. Она украдкой смахивала слезы. Абай повалился на подушки. Видно было, с каким трудом он до сих пор сдерживал себя. Тогжан заботливо укутывала его стеганым одеялом поверх шубы.

— Милая… Драгоценная… Единственная моя… — прошептал он и закрыл глаза.

Все решили, что он заснул. Но мозг, его изнемогал от видений, колебавшихся где-то на грани сна и бреда. Порой мысль угасала, мир тонул в небытии и меркнул. Вот вошла Айгерим… Нет, он мчится по улицам Семипалатинска на тройке гнедых коней… Опять не то — кругом ночь, он спускается в глубокую темную пещеру Кши-Аулиэ верхом, с Карашолаком на руке, саврасый спотыкается — он летит в пропасть, цепляясь за беркута…

Абай вздрагивает и поднимает голову. С трудом узнав окружающих, он снова падает на подушку. Снова не то сон, не то бред…

Каким странным кажется мир: нет ни неба, ни земли, они смешались. Впереди—ровная долина, тревожная, огненно-красная. Абай летает в этом непонятном мире. Вокруг него странные существа — и похожие и не похожие на людей — злые духи, джины. От их безобразного вида ему страшно. Они клубятся вокруг, пристают к нему: «Нам по пути, идем с нами!» Что-то влечет его за ними, он двигается к ним, но вдруг к нему стремительно бросается Тогжан, цепляется за него. «Не покидай меня, дорогой мой, возьми меня с собой!» — слышится ее голос. Он ощущает прикосновение ее щеки к своему пылающему лицу.

— Не покину, родная… Не уйду от тебя… — говорит он вслух.

Ербол печально сказал вполголоса:

— Ой, беда… Совсем разболелся Абай… Какой у него жар! И бредит… Да и мудрено ли — такой буран! Ни днем ни ночью не стихал, насквозь проморозил…

Абай вдруг сбросил с себя шубу и одеяло и заметался из стороны в сторону.

— Жжет меня, жжет, — в полубреду повторял он, — я весь горю, снимите, снимите!

Тогжан осторожно прикрыла его и сказала Ерболу:

— У него тело как в огне горит, руку мне жжет… Сколько лет не видала его — и вот он, беспомощный, измученный…

И, наклонившись, она быстро зашептала на ухо Абаю:

— Видно, обоим нам суждено страдать вечно! Как я мечтала хоть раз увидеть тебя… Вот и увидела… Разве это радость? Новое страдание, новая горечь…

Когда принесли ужин, Абай ничего не смог проглотить. Он хрипел и задыхался, словно давясь тяжелыми горячими вздохами. Ербол, Шаке и Тогжан, раздев больного, повели его к постели, приготовленной для него в переднем углу. Но не успел Абай сделать и шага, как тут же упал. Болезнь впилась в него всеми когтями, охватила все тело. Его подняли на постель, уложили, и Ербол повернулся к Тогжан, покачивая головой:

— Он заболел еще вчера, а потом еще сутки плутал в буране верхом… Ясно, что его свалило… Боюсь я за него!..

Ербол устал не меньше других, но в тревоге о друге не мог заснуть. Тогжан ушла в помещение старших, но тоже не находила себе покоя.

После полуночи Абай снова стал бредить и тяжело вздыхать. Тогжан, казалось, угадывала его страдания: она снова вошла, стараясь не делать ни малейшего шума, даже сжимая в руке тяжелое шолпы, и стала в ногах любимого, не сводя взгляда с его лица. Больной стал дышать труднее. Она опустилась возле него и приложила руку к его пылающей голове.

Абая снова мучили видения. В затуманенном сознании его снова возникла клубящаяся бураном степь. Вся вселенная наполнилась белой, медленно ползущей массой. Что это — снег или белый холодный саван, уже готовый обернуть обессилевшее тело? Он движется и ползет — бесконечный, скользкий, зыбкий, как тина. Он затягивает в себя, поднимает в высоту, раскачивает, бросает в бездну — и несет, все несет куда-то с собой. Он липкий, он обволакивает тело отвратительным холодным клеем… Да что же это такое наконец — снег, буран, бездонная трясина на дне какой-то пропасти? Она всасывает в себя, вот-вот поглотит. Кругом — никого. Никто не поможет, не спасет. Руки и ноги склеены. Обессилев, Абай все глубже уходит в эту вязкую массу. Он кричит: «Помогите! Спасите!» И тогда снова возникает Тогжан. Вероятно, она прилетела. Но она не подает ему руки. Она останавливается возле. «Спой песню, ту песню, которую ты сложил для меня», — говорит она. Абай спешит начать, запутывается, молчит. Он не может вспомнить стихов, посвященных Тогжан. Она торопит, протягивает руки. Но он забыл свои же слова.

«Что же там?.. Что же там было?..» — вскрикивает он и снова приходит в себя.

Он видит Тогжан, низко наклонившуюся к его лицу, она что-то шепчет. «Опять мысли путаются», — думает он и снова проваливается в бред. Ему кажется, что Тогжан сидит в ожидании ответа. Если он не исполнит ее просьбы— она навсегда уйдет от него, и тогда жизнь оборвется. Надо непременно вспомнить, найти. Но стихи ускользают. Он не может собрать ни одной строчки.

— Куда они девались? Я потерял их, теперь ты уйдешь от меня, — быстро говорит он вслух. — Что же это со мной? Где они? Они для тебя, для тебя были, и я не могу их найти…

Женское сердце угадывает все. Тогжан, полная жалости и тоски, гладит лицо Абая, обнимает его и прижимается щекой к его горящей щеке.

— Успокойся, успокойся, Абайжан… Не ищи ничего, не мучайся… — повторяет она.

Абай прикрывает глаза и некоторое время лежит недвижно. Потом, снова начав бредить, твердит, задыхаясь и волнуясь:

— Ты их не знаешь… Никто тебе не говорил их… Были, были слова!.. Сейчас, сейчас… Только скажи, чтобы меня не уводили… Я сейчас спою, сейчас…

Он хмурит брови, протягивает руки, шевелит пальцами и ловит воздух… Вот они, желанные слова!.. Но, не сказав ни одного, он замирает с полуоткрытым ртом. Кругом снова ледяные клубы бурана и топкая, отвратительная трясина. Абай весь вздрагивает.

— Спаси, не отдавай меня им, Тогжан!.. — в отчаянии кричит он — и опять приходит в себя.

Тогжан перед ним. Значит, это верно — он должен во что бы то ни стало вспомнить свои стихи. «Спою, сейчас спою…» — еле слышно повторяет он. Он закрывает глаза стараясь сосредоточиться. Слова не вспоминаются. Как это мучительно!

И вдруг — внезапный проблеск памяти.

— «Мне в жизни… в жизни…» Как же дальше?.. «Мне в жизни… не найти другой любимой… хоть лучшего… чем я… себе найдет она…»

Он рывком приподымается и садится; ворот у него раскрылся, грудь обнажена. Тяжелый вздох вырывается у него, из глаз текут крупные слезы. Он вглядывается в лицо Тогжан, наконец поняв, что она действительно здесь, с ним. Он берет пальцы любимой, прикладывает их ко лбу, к глазам, крепко прижимает к своему сердцу.

Ербол, в отчаянии следя за Абаем, сидел тут же. Заметив, что его друг очнулся, он быстро отвернулся и прилег, сделав вид, что спит, чтобы не мешать их разговору.

Казалось, что Абай спешит сказать все, пока бред не начался снова.

— Я блуждал по жизни, — с жаром шептал он ей в лицо, — я мерз в ее холоде, скитался и пришел к тебе… Пришел обобранный, бесчувственный… Ты — повелительница моя… Велишь ли мне жить?

Он снова отпустил ее руки и, закрыв глаза, упал на подушки.

— Буран… Все еще буран… — бессвязно забормотал он. — Веди меня! Я замерзаю, падаю! Меня уводят!.. — отчаянно выкрикнул он. — Что ты спотыкаешься, саврасый?.. Нет, это опять не она!..

Абай притих, будто отдыхая.

Сердце Тогжан дрогнуло при его вскрике: «Меня уводят!» Она не в силах была удержаться от слез. Что это? Мерещится ли что-то ему в бреду, или будущее внезапно открылось ему? «Уводят»… Неужели он чует конец?

Слезы душат Тогжан: сейчас, когда жизнь в нем борется со смертью, Абай вспомнил не отца, не мать, не детей и близких — он вспомнил только ее. Как будто душа его переполнена одной ею, как будто сердце его жило одним желанием, одной страстной мечтой, которую он должен был пронести через жизнь: не умереть, пока не скажет ей, Тогжан, своего предсмертного салема — своих стихов… Тогжан знала их — когда-то Карашаш, приехав навестить ее, пела их ей. Абай не мог в бреду вспомнить их начала — но разве эти строки не звучали в ее душе незабываемым горесгным напевом минувшего счастья!..

Конец он только что сказал сам — голосом, затухающим, как прощальный привет последнего солнечного луча, как последний багровый отблеск заката…

Сияют в небе солнце и луна,

Моя душа печальная темна…

Тогжан плакала, склонившись над Абаем, прижимая к губам его руку.

— Милый… Ведь это не твои слова, а мои… Ты просто сказал то, что было у меня на сердце!.. Злая судьба!. Лучше бы я умерла в те дни, чем жить сейчас здесь… — шептала она в неудержимых рыданиях.

В одну из минут, когда сознание к нему вернулось, Абай с трудом повернулся и попросил пить. Тогжан сразу сдержала слезы и подняла голову, но не разобрала его невнятных слов. Она выжидающе смотрела ему в лицо, продолжая чуть слышно всхлипывать.

Ербол лежал отвернувшись, но чутко прислушивался к каждому движению больного. Он тотчас вскочил и подал Абаю воду, стоявшую на печке. Абай сделал глоток и, едва промочив горло, упал на постель.

— Что со мной делается? Видно, сильно я заболел… Тело у меня огнем пылает, — раздельно произнес он и с глубоким вздохом закрыл глаза. Дыхание его вырывалось с каким-то стоном и свистом, что-то как будто дребезжало в его груди. Всю ночь Абай метался в мучительном жару и в бреду. Ни Тогжан, ни Ербол ни на миг не закрывали глаз. До самого рассвета Тогжан плакала не переставая.

И только когда стало совсем светло и ей сказали, что в Большом ауле проснулись старшие, она тихо поднялась и медленно вышла из комнаты. Абай под утро успокоился и как будто задремал. Баймагамбет проснулся раньше других. Его поразило лицо Тогжан: в нем не было ни кровинки, глаза покраснели, веки распухли, и она шла слабая и изнуренная. В ее осунувшемся, сосредоточенном лице было столько горя, словно она пережила смерть любимого.

Абай пролежал дней десять, прикованный болезнью к постели. Первую неделю его состояние пугало и его друзей, и весь аул, и в особенности Тогжан.

Хозяин аула, зажиточный, старик Наймам, в первую же ночь подробно разузнал, кто его гости и откуда прибыли. Наутро все путники, кроме Абая, явились в Большой дом, отдали старику салем и обстоятельно рассказали о всех событиях своей поездки и о болезни Абая.

В ответ на это Найман со своей байбише навестил Абая и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Весь аул сочувствовал больному. Но уже к полудню слух о странном поведении молодой келин облетел всю зимовку. Мулла и жигит, встречавший гостей, настойчиво стали расспрашивать их, в каком родстве состоит Тогжан с Абаем. Узнав, что родство это очень отдаленное, все решили, что в том участии, которое они выказали ночью друг другу, не могло быть ничего доброго. Ничего не скрывая, они рассказали свекрови Тогжан, что молодая келин всю ночь напролет просидела возле больного, а утром ушла от него вся в слезах.

С этого же дня Тогжан не разрешили больше ухаживать за больным: ее сменила сама старая байбише Наймана.

— Я сама буду ходить за сыном Кунанбая, — заявила она. — Я тебе не чужая, сынок. Мы тебе родичи и жалеем тебя. Можем и подушку под головой поправить и напиться подать! Только выздоравливай скорей!

Следующие три дня больной лежал без сознания. Тогжан изредка заходила к нему, но оставаться возле него не смела. Свекровь каждый раз выпроваживала ее в Большой дом:

— Поди, милая, позаботься об отце, не задерживайся здесь!

Через несколько дней вернулся молодой хозяин аула, муж Тогжан — Аккозы. Из всего Тобыкты род Мотыш выделялся своим плотным телосложением: все они были крупные, толстые, светлые и большеглазые, с правильными чертами лица. Аккозы как раз и был таким — плотный, светловолосый, почти рыжий, с синими глазами и вздернутым коротким носом, с тяжелым круглым лицом, — природа не поскупилась на его щеки, лоб и голову. Он казался неразговорчивым, замкнутым и серьезным. По возрасту он был сверстником Абая.

Его приезд как будто ничего не изменил: за больным ухаживали по-прежнему внимательно. Но Тогжан больше не появлялась.

Через неделю Абай, исхудавший и обессилевший, начал приходить в себя. К нему вернулись спокойный сон и аппетит. Ербола и Абылгазы поведение Аккозы удивляло: он ни разу не повидался ни с ними, ни с Шаке и, казалось, не обращал на гостей никакого внимания. Как только Абаю стало легче, старая байбише начала заговаривать с Баймагамбетом и Шаке об отъезде.

— Ну, вот Абай и поправился, не задерживайтесь теперь, дорогие мои. Ваши аулы совсем недалеко, переезжайте от родича к родичу, быстро доберетесь. Скорей везите Абая к матери, уж как она тревожится, наверное… — твердила она, всячески стараясь дать им понять, что пора покинь аул.

Через три дня таких разговоров Абай собрался уезжать. Накануне отъезда Тогжан пришла к нему в полночь, разбудила его и, опустившись возле него, коротко попрощалась с ним. Абай потянулся к ней и стремительно обнял ее. Но она уклонилась и выскользнула из его объятий.

— Абай, я пришла поговорить и проститься с тобой… Ее сдержанность поразила Абая. Он снова потянулся к ней.

— Что ты говоришь, милая, разве мы чужие друг другу?

Он опять пытался обнять ее, но Тогжан снова отстранила его руки.

— Судьба не захотела соединить нас, — печально сказала она. — Если бы ты приехал здоровым, я бы не задумалась вырвать у жизни то, что она отняла у нас. Через всю тоску и муку нашей разлуки я пришла бы к тебе радостно и спокойно, хоть потом мне и пришлось бы сгореть со стыда. Но судьба сама наложила запрет: привела тебя больным и поставила преграду… За эти дни я поняла, что сердце, которое любит, не может утешиться краткими минутами радости, непрочными мгновениями счастья. Пусть моя мечта так и останется несбывшейся, запретной на всю жизнь. Пусть уйдет она со мной в могилу, заветная и единственная, чистая, как вера. Я люблю тебя, милый, и уйду с моей любовью, глотая слезы!

Абай всем сердцем понял ее.

— Ты права. Права и за себя и за меня. Иначе ты перестала бы быть самой собой. Я не могу настаивать ни на чем. Это доказывало бы только, что я не умею держать себя в руках. Слова твои будут всегда со мной. Это слова души, которая любит.

Абай тихо поцеловал Тогжан в лоб и сел, молча опустив голову на руки. Тогжан поднялась и медленно вышла. Едва слышно скрипнула дверь, и в последний раз прозвенело шолпы.

Абай просидел до рассвета. Порой из глаз его текли горячие слезы, и плечи вздрагивали, как камыш от пробегающей волны. Его и сотрясала волна — тяжелая волна безысходности, непреодолимой и мучительной.

Вернувшись к себе, Абай поселился в своей новой зимовке на Акшокы. Всю зиму он провел над книгами. Баймагамбет то и дело ездил в город, привозя Абаю полными коржунами книги — единственную пищу души.

Теперь и Айгерим не отвлекала Абая, как когда-то. После возвращения мужа с охоты она узнала, что целых десять дней он провел в ауле Тогжан. Она ни слова не сказала об этом Абаю, глубоко затаив в себе ревность и обиду, и делала вид, что ничего не знает. Первый удар ее счастью, нанесенный Салтанат, еще с весны охладил ее чувство к Абаю. Встреча его с Тогжан совсем отдалила Айгерим от мужа.

Абай не объяснялся с ней и не раскрывал своей души, хотя и понимал причину охлаждения. Он не мог откровенно говорить о Тогжан и бередить свою душевную рану. Но и он тоже никак не мог простить Айгерим ее замкнутости и отчужденности и тоже затаил в себе обиду.

Теперь его собеседницей, единственным другом и верной, неизменяющей спутницей снова стала книга—и только книга.

НА ПЕРЕВАЛЕ

1

Было начало апреля. Весна наступила ранняя, и все кругом сразу зазеленело. Скот уже ягнился, на холмах вокруг зимовки Акшокы рядом с пасущимися матками играли ягнята и козлята. Аул Абая еще не выходил из зимовки, только Айгерим поставила неподалеку от дома свою юрту.

Старый Байторы и скотник Байкадам вышли под вечер полюбоваться ягнятами, но, увидев, что Абай с Баймагамбетом забрались на свой любимый холмик возле юрты и уже окружены слушателями, поспешили туда же, зная, что сейчас обязательно начнется какой-нибудь интересный рассказ.

Байторы еще недавно нищенствовал в Большом ауле Кунанбая, прикованный к постели изнурительной болезнью. Абай перевез его семью в свой аул, помог лечиться и оставил жить у себя. Старика доильщика Буркитбая он тоже взял к себе, а Байкадам, едва перебивавшийся в ауле Кунке, сам попросился к Абаю и тоже жил теперь здесь. Что касается Баймагамбета, то он раньше всех перебрался сюда вместе с малолетними братьями, вырвавшись наконец из тяжелой нужды. Аул Абая давно уже стал аулом — покровителем бедняков, люди жили в нем дружно, не терпя недостатка, как в родной семье, делясь и радостями и горем.

Приплетясь к холмику, Байторы услышал, что нынче рассказывает не Абай, а Баймагамбет.

— У народа по имени Нидерлан, — говорил он, — в городе Лейден был суд под названием инквизиция…

Поняв, что попал к самому началу, Байторы был очень доволен: он знал, что Баймагамбет ни за что не повторит для опоздавших ту часть повести, которую он уже успел передать.

Когда этой зимой Абай по вечерам говорил с Ерболом, Кишкене-муллой и старшими детьми о прочитанных книгах, Баймагамбет всегда внимательно слушал. С первого же раза он легко запоминал любой роман со множеством действующих лиц и сложно переплетенными событиями, и, нисколько не изменяя содержания, живо и занимательно пересказывал его потом другим. Имя замечательного рассказчика Баймагамбета облетело за эту зиму не только весь Корык и Акшокы, но и окрестности от Чингиза до Семипалатинска.

Близился закат. Вечер становился прохладным, свежий ветерок, овевавший холмик, пробирал уже чувствительно, но никто не уходил. Вместе со старшими сидели и дети — Абиш, усердный ученик в домашней школе Абая, Магаш, общий любимец, необыкновенно способный и одаренный мальчик, и Акылбай, ставший уже взрослым юношей. Он приехал в гости из аула Нурганым и нарочно остался ночевать здесь, чтобы послушать Баймагамбета. Все, не исключая Кишкене-муллы, были настолько захвачены рассказом, что даже не заметили, как к холмику подъезжает верховой. На него обратили внимание, лишь когда он спрыгнул с коня.

Это был Асылбай, один из табунщиков Большого аула. Его гнедая лошадь была вся в поту. Оказалось, он возвращается на зимовку Улжан из Семипалатинска, и Абай, ответив на его салем, спросил:

— Что нового в городе?

— А вы ничего не слышали? — удивился Асылбек. — По городу ходит страшная новость: нынешний белый царь, который правит и нами, помер!.. И не своей смертью помер— говорят, будто кто-то застрелил его из ружья!

Кишкене-мулла зашевелил губами и провел ладонями по лицу. Глядя на него, старый Байторы тоже поднял руки и хотя и понятия не имел, о чем молиться. Абай насторожился:

— Что ты говоришь!.. Где ты слышал? Кто убил? Когда?

— Наверное, больше месяца… Весь Семипалатинск об этом шумит. Русские уже давно собирались в церкви, в мечети тоже намаз совершали, с народа присягу берут, словом, в городе переполох… На трон сел сын царя, убийцу, говорят, поймали… А кто и что — я еще не узнавал…

Абай глубоко задумался. Он не сомневался, что с царем расправились не простые убийцы. «Да, таких людей ничем не сдержишь и не испугаешь… У них ясный ум и твердая воля, они никогда не примирятся с изгнанием и ссылкой… Они должны были совершить что-нибудь такое, что потрясло бы всю Россию, — и они совершили это…»

Между тем Байторы и Байкадам оживленно обсуждали новость:

— Бывает так, что по приказу царя убивают людей, но чтоб царя убили — с тех пор, как земля стоит, такого не было!..

— У этого убийцы, видно, сердце, как рог, крепкое! Кто же это пошел на такую дерзость?

— Уж, конечно, не простой разбойник! Если он сам не царь, то, наверное, кто-нибудь из знатных людей!.. Подумал про царя: «А чем я хуже его?»—и убил. Простой человек с царем тягаться не станет…

— А я думаю, какой-нибудь вор царскую казну ограбить хотел, а тут царь проснулся — вот он его и застрелил, — догадался Байкадам.

— А что, правда! — согласился Байторы. — И в сказках о таких говорится, — хитрый вор любого хана и надует, и ограбит, и до смерти доведет!..

Кишкене-мулла, видя, что они не столько горюют о царе, сколько допытываются, кто и как мог убить, решил воспользоваться случаем для приличествующего наставления.

— Шариат учит чтить владыку, управляющего тобой твоим пародом, какую бы веру он ни исповедовал, — начал он. — В мечетях поминальный намаз совершили — значит и мы, мусульмане, в сильном горе. Поистине достойно печали такое событие! Ни в одной книге я не читал, чтобы простой народ убивал своего царя… Близится конец мира, наступают последние времена!..

Абай, погруженный в свои мысли, услыхал только конец наставления. Он усмехнулся и встал с места.

— Там, где великое насилие, там и великая ненависть, Кишкене-мулла, — сказал он. — Откуда, вы, сидя здесь, можете знать, какая обида или месть подняли эту руку?

И он направился к юрте, позвав с собой Баймагамбета.

— Баке, — приказал он ему по дороге, — завтра поедешь в город с письмом. Разузнай там все подробно.

Утром Баймагамбет уехал и вернулся через три дня. Вместе с полным коржуном книг он привез Абаю ответ Михайлова и газету «Областные ведомости», издаваемую канцелярией семипалатинского «жандарала».

Михайлов писал кратко, сообщая о случившемся по официальным данным. Первого марта, когда царь возвращался с прогулки, в него была брошена бомба. Доставленный в зимний дворец, он вскоре умер от тяжелой раны. Покушение было подготовлено заранее, некоторые из его организаторов схвачены. Михайлов писал и о том, что в Семипалатинске губернатор собрал гарнизон и служащих всех городских канцелярий на панихиду по умершем царе, затем привел к присяге новому царю Александру Третьему всех, начиная с солдат и должностных лиц. В конце письма Евгений Петрович сообщал, что сам он уволен со службы секретным распоряжением: «Вот какие чудеса творятся на свете, Ибрагим Кунанбаевич, — заканчивал он. — Вряд ли вы удовольствуетесь рассказами вашего Баймагамбета. Как ни хороша жизнь в Акшокы, вам не мешало бы все-таки приехать в город и разузнать обо всем самому!» «Областные ведомости» сообщали не больше, чем написал Михайлов. Абая удивила сдержанность газеты — обычно по поводу менее значительных событий она не знала меры ругани и угрозам. Что же произошло?.. То ли власти нос об камень разбили, то ли просто растерялись, будто их по глазам камчой стегнули?..

На следующий же день Абай отправился с Баймагамбетом в Семипалатинск. Дул свежий встречный ветерок, земля уже подсохла, степная дорога установилась, выровняв грязные ухабы. Молодая весенняя зелень, еще не тронутая ни изнурительным зноем, ни пылью, была ярка и свежа. Низкорослая полынь, ранние тюльпаны, тобылга, только что раскрывшая почки, покрывали все холмы от Акшокы до Семипалатинска, каждое озерко, каждая лужица были опоясаны зеленым мягким шелком трав.

Баймагамбет любил быструю езду и на случай поездок берег тройку саврасых, откормив их и выездив к весне. От самого дома он гнал их крупной рысью, ровный бег их не утомлял, а подбадривал путников, колеса дробно стучали по каменистой дороге. Подгоняя коней длинным кнутом, Баймагамбет продолжал прерванный приездом Асылбая пересказ, чтобы Абай, как обычно, выслушав его, поправил в наиболее важных местах. Абай слушал, поражаясь его памяти.

Баймагамбет, передавал содержание романа «Черный век и Марта». Героями этого романа, полного запутанных событий, были замечательный жигит Дик, исповедующий религию, преследуемую властями, его единоверец батыр Красная Борода — храбрый великан с чистым сердцем, коварная доносчица инквизиции и, наконец, ее соперница и достойный противник—смелая и упорная девушка Марта, стремившаяся освободить Дика. В романе подробно рассказывалось о кровавом лейденском суде инквизиции, которым руководило озлобленное духовенство, преследовавшее Дика и Красную Бороду. Человечность и благородство героев противопоставлялись безжалостности и жестокости духовных отцов, которые во имя бога и веры проливали кровь и подвергали адским мукам множество людей. Была здесь и чистая молодая любовь с ее высокими стремлениями, ясная и светлая, как лунный луч, отражаемый тихими водами, и коварное сердце соперницы-предательницы, подобное глубокой темнице, беспощадное и несправедливое.

Пересказывая роман, Баймагамбет ясно выражал свое отношение к его действующим лицам: каждому из них он давал справелдивую характеристику, оценивая их поступки, ум и воспитание. Всю сложную интригу романа он передавал без запинки, ничего не путая и не забывая, как будто сам прочитал книгу несколько раз.

Прежние его пересказы казахских сказок, «Тысячи и одной ночи», «Бахтижар», персидских «Сорока попугаев», казались ему теперь давно пройденным уроком, и к ним он возвращался редко. Передавая слышанное от Абая и никому еще не известное, он как бы внушал слушателям: «Если хочешь понять, кто такой Баймагамбет, — суди вот по этому…» Из восточных сказок он рассказывал теперь лишь о Рустеме, Жамшиде, о Шаркен, о трех слепых и Сеидбаттале, из казахских легенд — Едил и Жаик, Жупар-Коррыга и Ер-Тостик; любимые и незабываемые, они жили в душе Баймагамбета, каждую из них он рассказывал от сумерек до чая, подававшегося перед сном. К ним он прибавил несколько романов, услышанных от Абая. Больше всего он сам любил один, который называл «Петр Пелекей».[42] За ним шли «Дубровский» и «Сохатый», потом «Валентин Луи, или Чистое сердце», «Ягуар», «Хромой француз», и, наконец, «Черный век и Марта».

Баймагамбет никогда не учился по-русски, он и по-казахски-то был неграмотен. Но, глубоко усваивая содержание всех интересных книг, прочитанных Абаем, он заметно начал изменяться и сам — и характером и повадками. Абай замечал, что он и держит себя не так, как его сверстники-жигиты, что он бессознательно подражает в поведении и речи дествующим лицам своих любимых рассказов. Он стал каким-то удивительным явлением, единственным среди окружающих его казахов, — неграмотно-образованным человеком. Даже внешне Баймагамбет, уже обросший рыжей бородой, сильно отличался от других жигитов — и острым взглядом больших синих глаз с густыми прямыми ресницами и резкой линией крупного, слегка горбатого носа. И сейчас он казался Абаю не простым конюхом, а незнакомым попутчиком, заехавшим в степь из каких-то далеких стран.

Абай, удивленный и обрадованный, смотрел на Баймагамбета, будто увидел его впервые. Да, это был новый человек… Он с жаром рассказывал, с каким упорством и смелостью Красная Борода освобождал Дика, и было видно, что их чувства были близки и ему самому. Он был прям и правдив, не покривил бы душой даже под угрозой смерти, сторонился всяких сплетен и никогда не передавал чужих слов, которые могли обидеть кого-нибудь. Ему можно было доверить любую тайну, он сохранил бы ее лучше, чем родной брат. Айгерим как-то зимой шутила, что от него нельзя выпытать даже того, о чем говорил Абай с маленьким Турашем. Айгерим, вообще метко определявшая людей, сказала о нем недавно: «Вы так много рассказывали Бакену о русских, что он и сам становится похож на них: не умеет вилять, идет напрямик… Вероятно, хороший русский, честный и правдивый, так и поступает…»

Задумавшись о сложном пути, по которому шла эта молодая душа, Абай впервые поймал себя на поразившей его мысли: как много, оказывается, значили русские книги и для него самого и для Баймагамбета!.. «Мы просто не замечали, что книги воспитывают нас, — думал он. — Баймагамбет моложе, на нем это более заметно… Глядя на него, и я теперь словно в зеркале вижу, как изменился я сам… Как далеко ушла моя душа от вековых устоев окружающей жизни…»

После полудня путники остановились покормить лошадей, закусили сами и отправились дальше. Баймагамбет все продолжал пересказывать «Черный век» и закончил лишь к вечеру, когда они постучались в ворота Тинибая.

В этот приезд Абай встречался с Михайловым чаще, чем раньше, и беседы их затягивались все дольше. Евгений Петрович не был теперь связан службой, и они могли видеться в любое время. Встретил он Абая, как близкого друга, и при первой же встрече рассказал ему подробности события, которые он считал невозможным передать в письме. Он рассказал ему, что и раньше были попытки убить царя, говорил о Желябове и о русской девушке-героине Софье Перовской, которых недавно повесили в Петербурге, говорил о людях, не жалевших для дела народа ни своей молодой свободы, ни жизни. По его мнению, на этот раз власти были сильно напуганы. Он с усмешкой заметил, что в манифесте от четвертого марта говорится о том, о чем раньше никогда не упоминалось в такого рода документах, — например, сказано, что правительство обратит внимание на хозяйственные и общественные вопросы, касающиеся всего народа.

— Туда и такое словечко, как «социальный», попало, — насмешливо говорил он Абаю. — Такое страшное слово в царских устах показывает, что трон здорово зашатался… Похоже на то, что в Петербурге порядком струхнули перед революцией…

Абай жадно расспрашивал друга. В прежних беседах с Михайловым ему не приходилось касаться таких вопросов. Узнав о том, что убийство царя было следствием широкого общественного движения против самодержавия, он пришел к твердому убеждению, что русское общество, вслед за своими лучшими людьми неудержимо стремится к революции. Михайлов еще больше вырос в глазах Абая и казался ему теперь особенно близким и дорогим. Абай забрасывал его вопросами, стараясь лучше уяснить себе то, что уже слышал от него, и разрешить новые недоумения.

— Вот вы говорили, что власти напуганы. Почему же изгнанникам и ссыльным вроде вас, Евгений Петрович, они не дают облегчения? Вас даже просто уволили со службы, как же так?

Михайлов только развел руками и рассмеялся:

— Ну, я-то фигура не крупная, со мной царская власть не очень считается… Меня еще на корню скосили, на третьем курсе университета… Да и на службе-то меня держали не по своей охоте, а поневоле. Года два назад губернатор получил из Петербурга предписание создать здесь статистический комитет, — а что такое статистика, с чем ее кушают, как поставить это дело по-научному, — здешние чиновники и слыхом не слыхали… А я еще в студенческие годы в погоне за знаниями увлекался и статистикой. Ну вот, не найдя никого, для начала взяли на эту должность с малой властью и большими хлопотами меня. Я и согласился, чтобы не бездельничать. Но, видно, жизнь привила мне одну болезнь, Ибрагим Кунанбаевич: не могу я никакого дела делать по-казенному. Так и тут: увлекся статистикой, начал уже понимать всю сложность народного хозяйства в ваших условиях… Но как только власти услышали, что произошло в Петербурге, статистика Михайлова, состоящего под надзором полиции, поспешили убрать из областного управления… Только я теперь не брошу начатого дела, может быть, мне удастся принести какую-нибудь пользу этому краю… Ведь что можно из него сделать, если взяться с умом и думать о народе, а не о купцах и промышленниках!

И он с увлечением заговорил на эту тему.

Чтобы легче было встречаться с другом, Абай вместе с Баймагамбетом поселился не у Тинибая, а у Карима. Островки Иртыша, густо покрытые зарослями, по-весеннему зеленели, и оба друга подолгу бродили по берегу реки, а порой отправлялись в лодке на Полковничий остров и целыми часами беседовали там. Разговоры день ото дня становились интереснее. Михайлов был старше Абая всего на четыре года, но жизнь его, полная событий, участником или свидетелем которых он был, казалось Абаю необыкновенно сложной. «Это какой-то ненаписанный дастан,[43] — думал Абай и тут же поправлял себя — Дастан — не то слово… Дастан говорит об одном каком-нибудь герое, а тут героев множество… И злодей тысячелетний: земной бог, одетый в золото, сверкающий на троне драгоценностями…»

Абай жадно расспрашивал Михайлова, как и когда зародилась в России революционная мысль. Михайлов рассказывал ему об истоках борьбы против самодержавия, говорил о Пушкине, Белинском, Герцене, о новом подъеме революционного движения, вызванном Чернышевским. О нем он отзывался с особой теплотой и уважением, и Абай решил, что именно Чернышевский был учителем его друга. Абай узнал о неудачном выстреле Каракозова, о смерти его на виселице. «Не повезло несчастному! — думал Абай. — Совсем близко подошел к царю, когда тот сходил с повозки, — и промахнулся!..»

Судьба двоюродного брата Каракозова и руководителя его группы — Ишутина глубоко поразила Абая. Пасмурным осенним днем его привели на Семеновский плац в Петербурге, прочли смертный приговор, надев на голову мешок и петлю, и, когда он был уже готов к смерти, прочли второй приказ — о помиловании и замене смертной казни каторгой. Впервые услышал Абай о том, что такое тюрьмы, которыми охраняло себя самодержавие. Михайлов рассказывал ему о земном аде, где из человека вынимают душу, не проливая крови, обрывают его дыхание без веревки и виселицы, — о Шлиссельбургской крепости, об Алексеевском равелине, об иркутском Александровском централе. Там-то сошел с ума Ишутин, не перенеся страданий, и долгие годы продолжал еще жить в безумии… Он был так жалок, что у людей, которым приходилось его видеть, слезы навертывались на глаза… Абаю казалось, что нельзя придумать более зверской и безжалостной расправы с человеком, чем такая игра с живым существом. Только хищник может мучить так свою жертву угрозой смерти и надеждой на избавление!..

— Евгений Петрович, неужели это возможно? На глазах народа, на глазах всей России так издеваться над человеком и без того готовым встретить казнь?.. Разве это допустимо? — взволнованно спрашивал он.

Михайлов рассказывал ему, что такое же бесчеловечное издевательство было совершено и над Чернышевским, которого Михайлов называл гордостью русского передового общества, глашатаем свободной мысли.

— У всех у нас, — говорил он, — был один учитель: Чернышевский. Идеи Чернышевского последние пятнадцать— двадцать лет вдохновляют все молодое поколение.

И он рассказал, как 19 мая 1864 года Чернышевского вывели на Мытную площадь в Петербурге к позорному столбу и прочли приговор — семь лет каторги. Но вот прошло уже семнадцать лет, а Чернышевский все еще томится в глуши Сибири, в проклятом Вилюйском остроге.

В этой беседе Михайлов вновь поразил Абая. Тот до сих пор думал, что мысль о цареубийстве была подсказана Чернышевским, но Михайлов, заговорив о своем учителе, сказал, что тот не имел никакого отношения к событиям первого марта. Абай даже переспросил:

— Но разве не он подтолкнул на это людей своими мыслями и учением?

Михайлов был вынужден разъяснить ему подробнее:

— Ни мысли, ни слова Чернышевского никак не ведут к этому. Убийство царя совершили люди, которые не сумели понять революционных идей Чернышевского, наоборот, эта группа решала все по-своему. Идеи и стремления Чернышевского далеки от этого…

Михайлов объяснил своему другу, что индивидуальный террор — пусть даже убийство самого царя — не тот путь, которым можно уничтожить царский строй: вместо убитого сядет другой царь, только и всего. По взглядам Чернышевского, в борьбу с самодержавием должно вступить крестьянство, многомиллионный трудовой народ. Он рассказал о прокламации Чернышевского, обращенной к русскому крестьянству. Это воззвание называлось: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». В нем Чернышевский призывал крестьян идти на борьбу с поработителями с топором в руках. Народ держат в рабстве дворяне-помещики, а царь в 1861 году просто обманул народ призраком освобождения, потому что он — не народный царь, а помещичий, его забота только о них — о помещиках. Еще со студенческих лет Михайлов помнил отдельные строки прокламации и теперь повторял их Абаю. «Оболгал он вас, обольстил он вас… Сам-то он кто такой, коли не тот же помещик?.. Вы у помещиков крепостные, а помещики у царя слуги, он над ними помещик… Ну, царь и держит барскую сторону». И дальше про волю: «…чтобы народ всему голова был, а всякое начальство миру покорствовало и бесчинствовать над мужиком никто не смел…» Михайлов с волнением заговорил о том, что спасение от царских порядков — лишь в остро отточенном топоре всего народа, а поступки четырех-пяти одиночек, оторванных от народа, отдельные убийства то министра, то царя — это все мало полезные пути…

Абай сразу почувствовал всю справедливость мысли Чернышевского, видевшего решающую силу только в народе. «Значит, истиный долг того, кто заботится о народе, — это пробудить в людях сознание, призвать весь народ на борьбу с ордой зла и насилия!» — подытожил Абай свои мысли.

Сколько нового, захватывающего душу и ум, дал ему Михайлов! С ненасытной любознательностью Абай расспрашивал его о борцах против самодержавия. Хотя Михайлов долгие годы находился в изгнании, вдали от друзей, однако он знал все события, как старый, умудренный жизненным опытом летописец. Он рассказывал Абаю подолгу о каждом крупном деятеле, о каждой группе, ведущей борьбу с царем. Из этой беседы Абай сделал вывод и о самом Михайлове: групп и организаций, борющихся с самодержавием, — множество, но его новый друг одобряет лишь немногие из них. Одинокий, изгнанный, связанный— он всеми помыслами был с Чернышевским.

Вскоре после этого разговора Абай увиделся с адвокатом Акбасом и восторженно заговорил с ним о Михайлове. Акбас разделял его мнение:

— Михайлов — настоящий человек! В нем гражданская совесть проснулась рано, еще двадцатилетним юношей он показал себя смелым революционером… Да и вся семья его тоже такая… Он говорил вам, что сделала его старшая сестра в день гражданской казни Чернышевского? Нет?… Ну я так и думал, — усмехнулся он.

И он рассказал, что, когда прочли приговор, сквозь толпу пробилась молодая девушка и бросила к ногам Чернышевского букет цветов, крикнув: «Прощай, друг!»

Возглас прозвучал как прощанье всего народа, цветы были как вызов палачам, войскам и царским слугам, окружавшим место казни. Эта девушка была Мария Михайлова, родная сестра Евгения Павловича.

Абай был поражен. Смелая и решительная девушка так и стояла перед его глазами. Она как бы говорила властям: «Вы приговорили его к смерти, а мы, молодежь, готовы целовать землю, по которой ступали его ноги!» И эта девушка оказалась сестрой его теперешнего друга! Но удивительней всего было то, что его друг, так много и часто рассказывая ему о других революционерах-героях, ни разу не упомянул о своей сестре!.. Припоминая их беседы, Абай пришел к выводу, что это было следствием большой скромности Михайлова: он никогда не рассказывал о себе, о своей деятельности. Ни разу он не сказал: «Я поступил так-то», — во всех его рассказах действовал всегда не он, а другие, а сам он растворялся в общей массе, как незначительная единица. Абай знал о нем лишь то, что он был сослан года за два до ареста Чернышевского.

Личность Михайлова все больше привлекала Абая и заставляла глубоко задумываться. «Каким смелым и сильным должно быть нынешнее поколение народа, в котором много таких людей, как Михайлов! Какая накопилась в нем сила! Она подобна силе слона — в ней и великая мощь и великое терпение…» — думалось ему. И он решил при первой же новой встрече расспросить Михайлова о нем самом.

На другое утро Абай постучался в двери домика на берегу Иртыша, ставшего для него подлинной школой. За дверью послышалась недовольная воркотня, и старуха Домна приоткрыла дверь, продолжая браниться, но, увидев Абая, широко ее распахнула.

— А, это ты, Ибрагим, заходи, заходи, ждет тебя твой приятель! — сказала она и тут же разразилась негодующей бранью — А я-то думала, опять этот старый пес явился! Вот ведь пристал, никак не отвяжется, до смерти надоел… «Твой, говорит, барин — сицилист… Ты мне скажи — кто к нему ходит, куда он сам ходит?..» Все ему надо знать— и что ест и что пьет… Проходу не дает, так и лезет в душу, так и вынюхивает…

Абай, снимая в передней верхнюю одежду, прислушивался посмеиваясь, но с большим вниманием. Он знал, о ком шла речь. Это был околоточной надзиратель Силантьев. Видимо, ему поручили слежку за Михайловым, и он уже больше месяца мучил Домну. Но и Михайлову был известен каждый шаг околоточного, и он всегда с интересом выслушивал жалобы старухи.

И сейчас он, выйдя в прихожую к Абаю и поздоровавшись с ним, с улыбкой взглянул на негодующую Домну. Абай сочувственно спросил ее:

— Видно, и нынче вас Силантьев рассердил, Домнушка? Опять встретились?

— А то как же! Он еще Сидориху подбил, соседку.

Пришла я на реку белье полоскать, а она и давай меня расспрашивать… Думаешь, они только про Евгения Петровича спрашивают? И про тебя пытают: «Чего это киргиз к вам повадился, может, твой сицилист и киргизов сбивает?..»

Домна ушла в кухню. Михайлов нахмурился и некоторое время молча ходил взад-вперед по комнате, видимо, обеспокоенный рассказом старушки. Потом он присел рядом с Абаем на диван с обычным спокойным видом. Абай задал наконец занимавший его вопрос:

— Я все хотел спросить вас, Евгений Петрович… не знаю, могу ли я спрашивать об этом?.. За что вы пошли в ссылку?

Михайлов ответил очень коротко. В университете он увлекся идеями Чернышевского, вошел к кружок Шелгунова, мужа своей старшей сестры, и начал кое-что делать. Арестовали его во время студенческой демонстрации, которую он организовал вместе с друзьями, требуя смещения профессоров-мракобесов. Дело кончилось ссылкой в Петрозаводск. Через год группа ссыльных по совету петербургских товарищей написала прошение на высочайшее имя с просьбой о смягчении наказания. Но вместо этого их группу выслали из Петрозаводска в Сибирь. Причину этого Михайлов узнал уже здесь от Лосовского, которому губернатор рассказал, что произошло. Оказалось, царь, прочитав первую страницу, сказал: «Такие молодые! Вряд ли они испорчены вконец… Сидят больше года, пожалуй, можно вернуть, одумались…» Но, к несчастью, на последней странице очутилась клякса, правда тщательно вылизанная одним из просителей. Она и решила дело: в глазах царя клякса была символом протеста, издевательством, знаком пренебрежения, — и он отшвырнул бумагу, резко сказав: «Ни в коем случае не возвращать, пусть прокатятся подальше!» И на голову Михайлова и его друзей свалилась еще большая кара…

Рассказывая об этом, Михайлов говорил спокойно, с большим юмором, но тут же добавил то, что, видимо, тяготило его всю жизнь:

— Здесь меня полиция считает опасным злоумышленником — не то я новое цареубийство затеваю, не то подкоп под губернаторский дом веду… А что могу я делать? Вот кабы не скосили меня под корень молодым, может быть, я и сумел бы сделать что-нибудь стоящее. Эх, Ибрагим Кунанбаевич! Вот вы считаете меня каким-то вожаком общественной мысли, революционной борьбы… Преувеличиваете вы из дружбы ко мне, а на самом деле — я рядовой, да еще и отставной…

Абай, выслушав, задумчиво сказал:

— Я понимаю, что вы и страдаете и мучаетесь… Но какой счастливый ваш народ, ваше общество! Я вижу, как расступается перед ним ночная тьма… Рассвет близок…

— Почему вы так думаете?

— Как же может быть несчастен народ, у которого заступников больше, чем обидчиков? Если у тех, кто борется за народ, такие рядовые, как вы, Евгений Петрович, что же будет, когда они расправят крылья? Один из вас убил царя — а если встанут все вместе?.. Тогда наступит истинное счастье народа-страдальца!.. Вот я и говорю, что русский народ — счастливый народ…

И, помолчав, Абай добавил:

— Несчастный народ, горемычный народ — это не русские, а мы, казахи… Нас накрыли толстым войлоком, вот мы и лежим в темноте…

Абай и до этого часто делился с Михайловым мыслями о судьбах своего народа. Сегодня он убедился, что друг его много думал об этом: Михайлов стал как бы подводить итоги всем прошлым беседам.

Он заговорил о том, что русские принесли в степь и добро и зло. Зло видно всем, его трудно не заметить, а добро видит не всякий, его трудно распознать. Зло — это здешние власти и чиновники: они глухи, тупы, не знают и не понимают ничего, думают только о чинах и взятках. Добро — это русская культура. Но она для нынешнего казаха — еще тайна, загадка, в каждом русском он видит только грубую силу, вроде Силантьева или Тентек-ояза. Но Абай уже может разбираться в этом, он должен понимать то, что для других скрыто. Русская культура — богатейшая сокровищница. Русские обладают наукой, с которой считается весь мир, у русских есть мыслители, заставившие весь мир признать величие русской культуры. Что знают об этом казахи? Все это так далеко от них, так чуждо… И все же казахский народ начинает понемногу просыпаться, пусть с трудом, пусть поодиночке, — и такие люди, как Абай, уже могут черпать из русской сокровищницы ее огромные богатства… Казахскому народу открыт путь, которым идет всякая пробуждающаяся человеческая мысль — просвещение.

— Конечно, нельзя заранее скроить будущее не только для всего народа, но и для самого себя, — говорил Михайлов. — Вот вы как-то сказали мне прекрасную казахскую пословицу: «След—мать дороги» — так, кажется? Всегда начинает кто-то один, а продолжают многие. От одного зернышка колос родится. «От искры возгорится пламя», — запомните эти слова, мудрые слова!.. Вы — одно из таких зернышек. Что, по-моему, нужно вам делать? Во-первых, молодому казахскому поколению нужно учиться… Начните с собственных детей, пусть научатся читать по-русски. Второе — передавайте вашему народу все, что прочли сами, чему научились, что узнали… Пусть это будет крохотный светлячок в огромной темной степи, пусть будет это слабый светильник в одинокой руке — но надо нести его в темноту!.. И еще: сколько болячек на теле вашего народа, — надо уметь их распознавать, оценивать, безбоязненно вскрывать, — словом, нужна смелая критическая мысль… У вас есть мощное оружие: насколько я могу судить, ваш народ — народ-поэт. Я заставил бы его домбру, его песни, его сказания говорить о нуждах народных… Рассказывал бы в них, как и откуда свалилось на плечи народа бремя, воспевал бы просвещение, знание… Это было бы великим делом! Ведь ваш народ любит острую, образную речь, он усвоил бы мысли этих песен быстрее и лучше, чем проповеди имамов в семипалатинских мечетях… Вы же знаете, что и у нас, в России, развитию общественного самосознания очень помогли наши поэты. Правда, у них был могучий союзник — печатное слово, книги, которых у вас сейчас еще нет. Но меня и это не остановило бы, ведь важно, чтобы до народа дошло яркое слово о его нуждах, а каким способом оно дойдет — вовсе не важно… Вон видите, что я вам насоветовал! — шутливо похлопал Михайлов по плечу Абая.

Еще раньше, когда Михайлов рассказывал ему о Чернышевском, Абай спрашивал его: «А если бы Чернышевский был в ссылке здесь, что он посоветовал бы тем казахам, которые начали разбираться в окружающем, какой путь он указал бы им, как думаете? Нынче Михайлов, как будто вспомнив это, закончил:

— Конечно, будь у вас здесь не я, а Чернышевский, он казался бы лучшим советчиком… Возможно, что с его точки зрения я говорю о недопустимо медленном пути. Но меня заставляет говорить так исторически отсталое состояние вашего народа…

Абай подхватил его мысль:

— Я вас понял, Евгений Петрович. Трудно прорасти семенам, брошенным в землю, скованную глубокой зимней стужей. Вы полагаете, что не все семена, брошенные рукой Чернышевского, могут взойти у нас?

Михайлов оценил острую восприимчивость Абая.

— Я как-то говорил вам, что Чернышевский основную надежду возлагал на остро отточенный топор народа. Развитие народного сознания, просвещение — это путь к той же великой цели, иначе народное восстание превратится в мятеж, а не в революцию… Вероятно, Чернышевский сумел бы яснее ответить вам, — я же не знаю еще толком вашего народа, а потому не вижу и верных путей для его борьбы…

Абай так глубоко воспринял слова Михайлова, что скоро не смог отделять их от своих собственных мыслей. Они стали его верой.

Этот разговор, затронувший великие жизненные задачи, закончился тем, что Михайлов сумел применить его и к личной жизни Абая. Он стал расспрашивать, как и чему обучаются в ауле его дети. Абай рассказал, что его сыновья Абиш и Магаш и дочка Гульбадан давно уже учатся в домашней мусульманской школе, но что он решил дать им русское образование, и тут же просил совета Михайлова, как и где это начать.

— Везите их сюда, — сказал Михайлов, — подумаем, как их устроить. Лучше всего, если они будут жить в русской семье — тогда за два-три года они вполне овладеют языком… Только договоримся: пусть учатся не ради того, чтобы стать чиновниками. Пусть каждый твердо помнит одно: «Я первая ласточка—учусь для себя, расту для народа…»

Абай вдруг подумал: если из его Абиша и Магаша получатся такие люди, как Михайлов?.. Он уже видел их не в казахской одежде тобыктинского покроя — они одеты, как русские горожане, они склонились над толстыми книгами, ученые, смелые… Защитники народа, руководители молодого поколения… Великая будущность! «Только бы дожить до этого, — почти молился он, — только бы сказать им: я состарился, износился, но мне не о чем жалеть, уходя из жизни, — я передаю дело вам… Если бы я мог так сказать, я был бы счастливейшим из отцов…»

Приход нового гостя прервал мечты Абая. Это был адвокат Андреев, с которым они встречались ежедневно.

Нынче он пришел с новостями из канцелярии уездного начальника. Новости касались всего Тобыкты, и он считал нужным сообщить их Абаю: не только канцелярии уездного начальника и мирового судьи, но и канцелярия самого «жандарала» была завалена жалобами, приговорами старейшин, доносами, прошениями тобыктинцев. Все эти бумаги были «с тамгой», то есть с приложением оттисков пальцев сотен людей, — обвинения и в поджогах, и в набегах на аул, и даже «в доведении беременных до выкидыша».

— Вы и понятия не имеете, Ибрагим, что творят сейчас ваши волостные! — закончил Акбас. — Опять разгорелась какая-то межродовая неразбериха!.. А может быть, просто началась борьба за должности, — ведь в этом году перевыборы…

Михайлов, долгое время работавший в канцелярии «жандарала», хорошо знал, что приговоры, составленные волостями, часто оказываются просто клеветой. Он как-то говорил Абаю: «Царское управление страшно развратило киргизскую степь. В ней воцарились взятка и донос. Русские законы совсем не отвечают ни вашей жизни, ни вашему быту. Между народом и властями — непримиримая молчаливая вражда и взаимное недоверие. И в результате киргизу ничего не стоит солгать перед законом: оклеветать, составить ложное обвинение — он и за стыд не считает! Вот вам пример, как портит народ тупое начальство и бессмысленное управление!»

Услышав новости Акбаса, он спросил:

— Кто же на кого жалуется — сами волостные на кого-нибудь или наоборот?

— Все жалобы — на волостных, — ответил Андреев и повернулся к Абаю с иронической улыбкой, — и как раз на тех, кого вы рекомендовали Лосовскому на прошлых выборах… Если мне не изменяет память, вы говорили, что они будут друзьями народа?

Он рассмеялся и потом добавил:

— В этой куче есть одна серьезная жалоба, несомненно обоснованная, — от бедняков жатаков. Кое-кто из них приходил ко мне, просил заступиться: «Возьми на себя наше дело, доведи наши слова до начальства, управители творят насилия над нами…»

Абай заинтересовался, против кого направлены приговоры, составленные волостными. Но Акбас не мог вспомнить ни одной фамилии, однако сообщил, что видел несколько приговоров, обвиняющих жатаков в воровстве и требующих ареста как раз тех, кто подал жалобу на волостных.

Михайлов по-своему истолковал это:

— Видимо, люди, на которых положился Ибрагим Кунанбаевич, как на способных служить народу, вошли в силу. Только думают они не о пользе народа, а о том, как собрать голоса к новым выборам и удержаться на месте. А против них, очевидно, создалась другая партия. Жата-ки же не присоединяются ни к тем, ни к другим. Волостной тянет их на свою сторону, а они, наверное, говорят: «Оставь нас в покое», — вот и попали в приговоры как разбойники, воры и жулики… Эх, Ибрагим Кунанбаевич, а вы-то надеялись, что эти люди будут ходатаями за народ перед начальством!.. И вот они же чернят свой народ, пишут доносы, — он, мол, не подчиняется начальству!.. Конечно, ваши волостные не дураки: вас они провели, должности получили и с вами у них счеты покончены. Они отлично понимают, что ладить с губернатором и уездным начальником куда выгоднее, чем с вами. Да, если у народа такие «заступники», ему, видно, не сладко живется!.. Раз уж они вас, кто все их повадки знает, обвели вокруг пальца, — окрутить народ им ничего не стоит! А перед начальством они всегда сумеют прикинуться честными. Начальству нашему именно такие и нужны: они ему на руку играют, а что там с народом — начальство не интересуется: оно от того убытку не терпит!

Акбас добавил с усмешкой:

— Какой там убыток! Убыток начальству, если народ живет дружно, — тогда им и копейки не перепадет! А поссорятся люди — начальство взятки огребает, да за «успокоение населения» и в чине повышается!

Абаю было нестерпимо горько и стыдно узнать это о людях, за которых он сам ручался, как за людей с умом и совестью, которых объявил «заступниками народа». И один из них — был его брат Исхак! Абаю казалось, что тот все свои беззакония делает руками его, Абая…

Он не в силах был принимать участие в дальнейшем разговоре. Молчаливый, потемневший от стыда, он посидел еще немного, попрощался и вышел.

2

Абай задержался в Семипалатинске гораздо дольше, чем предполагал: ему жаль было расставаться с Михайловым и Андреевым, беседы с которыми ему казались и важнее и полезнее всякой школы.

Была уже середина лета, когда он двинулся домой. По пути из города Абай заехал в Ералы и остался ночевать у жатаков.

В юрте Даркембая только что закончился утренний чай. Хозяин, накинув поношенный бешмет поверх рубашки с открытым воротом, сидел против Абая. Подсыпая на ладонь табаку из желтой роговой шакши и нюхая его, он с довольным видом посматривал на гостя: и приезд его и беседа с ним очень обрадовали Даркембая.

Довольна была и хозяйка, пожилая худая женщина, — ведь Абай ночевал у них в юрте! Убирая посуду со стола, она напрягала слух, прислушиваясь к шуткам, которыми обменивались Абай и ее муж, и ее морщинистое лицо светлело от смеха. Бумажки от конфет, разбросанные по всей юрте, доказывали, что и десятилетнему Мукашу не на что было жаловаться: он получал гостинцы, будто из города приехали родные.

Даркембай вернулся к тому, о чем Абай рассказывал ему в ночной беседе:

— О чем с нами говорят, кроме того, что надо подчиняться аткаминерам и волостным? Заговорит знатный человек — твердит о своей силе и власти, хвастает своей хитростью и ловкостью. Наш брат бедняк жалуется на свои нужды, плачется о горе… А вот ты, Абай, рассказал нам про смелых людей, которые убили царя и пострадали за народ. Теперь мы знаем, что у обездоленной бедноты есть заступники. Они думают о нуждах народных, хотят облегчить жизнь всего народа и жертвуют за него даже жизнью. В тот день, когда народ станет счастливым, их цель будет достигнута. Эти люди — заступники и за нас, жатаков, кто забился в нору, будто волчонок с перебитой ногой…

Старик понюхал табаку, задумался и, словно обобщая все, что услышал от Абая, закончил:

— Так оно и есть… О чем говорят сильные? О том, как угнетают слабых. О чем говорят слабые? О том, как терпят от сильных.

Ясность рассуждения Даркембая поразила Абая.

— Хорошо! — одобрил он. — Наша беседа привела к верному выводу, твои слова прямо годятся в пословицу!.. Видно, ясный ум надо искать не у богача с множеством табунов, а у бедняка, кого нужда научила думать…

В ответ на похвалу Даркембай усмехнулся:

— Э, Абай, за один ум старшим над людьми не станешь!.. У нас, если бедняк не умен, про него скажут: «У бедного ум короток». А если он умен и красноречив, так над ним смеются: «Болтун, языком трепать любит…» Нет, Абай, я еще не видел, чтобы умная речь помогла добиться правды!

В юрту поодиночке начали сходиться соседи. Появились знакомые Абаю старики Дандибай, Еренай и Кареке из рода Котибак, — они пришли поговорить с Абаем от имени всего аула, насчитывавшего теперь больше пятидесяти юрт. Да и сам Даркембай собирался пожаловаться своему гостю на обиды, причиненные и ему и его соседям жатакам, но ночью не хотел беспокоить Абая, уставшего с дороги, и пока что не сказал об этом ни слова.

Абай, как всегда, начал расспрашивать стариков о жизни аула и заговорил о посеве и урожае.

— У вас там пахотная земля хорошая, — обратился он к Дандибаю. — Кто из вас нынче много посеял?

— Много? — покачал тот головой и усмехнулся. — Дорогой мой Абай, кто из нас может посеять много? — Он приправил свою речь крепким словом и продолжал — В нашей несчастной жизни, когда соху тянет собака, а подгоняет колючка, нет ни у кого силы собрать и то, что сам бог дает! Хвалиться нечем: двадцать юрт, которые стоят у Миалы-Байгабыла, засеяли едва двадцать земель…[44]

— Ну, а всходы какие? — снова спросил Абай. — Бывает, что и с небольшого посева соберешь много…

Дандибай, Еренай и Даркембай заговорили разом:

— Много соберешь, говоришь?

— Разве удастся много собрать?

— Как бы вместо много не вышел шиш!..

— Ничего не понимаю! — повернулся Абай к хозяину.

Теперь Даркембай решился наконец заговорить об одной из тех обид, которыми он все хотел поделиться с Абаем:

— Ты в прошлом году сказал нам: «Не жди добра с неба, ищи добра в труде». Мы поняли эти слова, трудились честно. Наш труд оправдал себя: и на Шолпане, и на Киндике, и на Миалы-Байгабыле урожай сердце радовал. А что вышло? Разве ты не помнишь, как мы пострадали после того шума в Ералы?..

— Разве не погубили наших посевов Такежан и Майбасар? — перебил Еренай. — Да еще приговаривали: «Не затевайте спора с властями из-за рваных юрт!» А какой урожай был!.. Мы жать уже собирались, а они с пяти аулов табуны пустили на наши хлеба, до последнего колоска все вытоптали!..

Абай хорошо помнил этот случай. Такежан, отстраненный от должности волостного, подбил на это иргизбаев и котибаков, прикочевавших осенью в те места, где находились посевы жатаков. Абай через нового волостного Асылбека тогда же сумел добиться, чтобы пострадавшим от потравы возместили убыток скотом. Но он не знал о том, что ни один из аулов-потравщиков так ничего и не заплатил.

Даркембай рассказал ему об этом и спросил, можно ли надеяться на удачу, если они отправят от себя человека на межплеменной сбор Сыбана, Тобыкты и Уака, который должен был скоро состояться, и предъявят там иск.

Прежде чем ответить, Абай хотел узнать, нет ли у них еще каких обид.

— Не потравили ли они нынешнего посева? И помогал ли вам кто-нибудь из родичей хотя тяглом, когда вы сеяли или во время уборки? — допытывался он.

Старики опять рассмеялись.

— Ой, свет мой Абай, ну о чем ты говоришь? — сказал Кареке. — Ведь помогают тому, от кого ждут отплаты, а такой голи, как мы, — с какой стати?

— Где там помощь!.. Да и какие это родичи! — добавил Дандибай. — Они вот у Кареке снова потравили весной поле, как раз тогда, когда посев дал урожайные всходы!

— И наших несчастных кляч увели! — гневно перебил Даркембай. — Почему вы молчите о главном?

И он стал рассказывать о новом злодеянии родичей, совершенном недавно, когда Абай был в городе. Абай слушал со стыдом и негодованием.

Когда аулы Такежана, Майбасара, Кунту, Каратая прикочевали в эти места, жатаки подняли разговор о возмещении за прошлогоднюю потраву, не выплаченном до сих пор. Те обозлились и, когда пашни зазеленели, снова выпустили свои табуны на поля жатаков. Пострадавшие в отчаянии ездили к разным влиятельным лицам, жаловались на обидчиков, но ничего добиться не могли. С ними соглашались, даже жалели, говорили, что это разбой, но открыто поддерживать бедняков никто не решался, боясь ссориться с сильными аулами. Им сочувствовали шепотом, сидя у себя дома.

Выведенные из терпения ежедневными потравами, жатаки во главе с Даркембаем и Дандибаем затеяли драку с табунщиками Такежана и увели из его табуна двух коней. На следующий же день около сотни жигитов, вооруженных соилами, окружили аул бедняков. Они угнали обратно своих коней и едва не избили Даркембая. А когда жатаки пошли со слезами к Такежану и Майбасару, те с бранью прогнали их. «Вы только кочевья портите, всю землю перепахали, все пастбища испоганили!»—кричал Майбасар. А Такежан добавил: «Гнать вас, оборванцев, надо, из-за вас, паршивых, меня с должности сняли! Пусть у нас одни предки, — я вас за родичей не считаю, вы для меня не тобыктинцы, отступаюсь от вас! Коли вам нравится рыть носом землю, проваливайте к мужикам в Белагаш, делайтесь там русскими!

— Да этим не кончилось, — вмешался Дандибай. — С месяц назад у наших бедняков в одну ночь увели семь коней…

Еренай горько вздохнул.

— Вот ты и посуди сам, Абай, — медленно заговорил он. — Неизвестно, уродится что на потоптанных полях или все вконец погибло… А чем ответят те, кто и за прошлогоднюю потраву не уплатили? Что им наш загубленный хлеб?.. Боже мой, ведь мы здесь одиноки среди злодеев, как кустик чия среди горящей степи. Хоть бы подумали, кого обижают? Ведь у их же порогов мы все исчахли, будь они прокляты! Им же, их отцам служили, нет того, чтобы пожалеть, — старались, мол, бедняки, пусть хоть поедят досыта!.. Это волки, а не люди!..

Даркембай продолжал свой рассказ:

— Вот нам, четверым, наша беднота и поручила искать пропавших коней. Воры не за горами оказались — из Ахимбета, Кзыл-Молинской волости. Все, что с нами было, мы отдали, чтобы нам воров указали, нашли и тех, кто туда коней перегнал, и самих коней отыскали, ну думаем, теперь обратно получим. В Кзыл-Молы волостным твой брат Исхак, вот мы и стали ворам на горло наступать — здесь, мол, наш Исхак, он за нас заступится, отдавайте коней добром! Те было задумались, а потом вилять стали: «Мы ваших коней не уводили, их привел сюда ваш родич Серикбай: он у нас был в долгу и отдал этих коней в возмещение. Договоритесь сперва с ним, приведите его к нам». Вернулись мы—и узнаем, что этот негодяй Серикбай с прошлого года поселился у Такежана. Ну и получилось, что Такежан нас и близко к Серикбаю не подпустил. «Пусть, говорит, жатаки зря не болтают, Серикбай такой же бедняк, как они, и я его в обиду не дам!» Видишь, как — бедных защищать стал!.. Значит, Серикбай ворует под охраной Такежана!.. Словом, из наших рук он ушел. Тогда мы все вчетвером, поплелись опять в Ахимбет, а там новое горе. Такежан успел отправить нарочного к Исхаку: «Жатаки мне враги, не отдавай им коней, гони их…» Ну, Исхак и обидел нас хуже всех, просто выгнал. Не только семи коней— семи шкур не получили… Как же тут не завыть от горя? Вот мы и думаем: не отправиться ли нам в Аркат на сбор, не предъявить ли иск и за прошлую и за нынешнюю потраву, да и за семь коней тоже — ведь у нас другого тягла нет!.. Бывает же, что бии и волостные русского начальства боятся? Может быть, нам повезет, смилостивятся, вдруг и добьемся правды… Что посоветуешь? Мы не только от себя говорим, — от всех жатаков из пятидесяти юрт, от обиженных злодеями, ограбленных и нищих!..

Слушая стариков, Абай сидел, весь побелев от гнева, хмуря брови и кусая губы. Он не сводил глаз с Даркембая, говорившего твердо и убедительно. Абай тяжело вздохнул: его возмущало поведение обоих братьев, и было стыдно за них перед бедняками. Мутные волны досады, стыда и отвращения ходили в его душе. Они вздымались и обволакивали его мысль тяжелым осенним туманом, и сквозь него звучали, все время повторяясь, какие-то неотвязные слова… Новые стихи? «То, что совесть осудит, — отвергнет и ясный ум…» Стыд, совесть… что в этих словах тем, у кого сознание глухо, душа бесчувственна, утроба ненасытна?.. Что для них справедливость, жалость?

Все молчали. Наконец Абай заговорил:

— И это зло совершили мои братья… У меня с ними один отец и одна мать… Выходит — и я перед вами преступник! Что вам от того, если я скажу: «Бесстыдная рука творила, стыдливая душа корила»? Какой вам от этого толк?

И тут Абай поразил своих старых друзей, высказав мысль, рожденную в долгих беседах с Михайловым. Он облек ее в свои слова, вложив в них все, о чем передумал за это время:

— Вот, Даркембай, когда-то ты хорошо сказал, я до сих пор это помню: «У кого нужда общая, у тех и жизнь одна, настоящие сородичи—те, кого роднит общая доля». Правоту твоих слов я понял до конца, когда беседовал с одним умным русским. Оказывается, такие сородичи по горькой трудовой доле есть не только среди казахов: и среди русских множество таких же обиженных и обездоленных, как вы. И хотя царь и его чиновники те же русские, но эти бедняки никогда не посчитают их своими родичами. Оказывается, не только у жатаков Кокше и Мамая одинаковы думы: те же думы и у русских жатаков — и в Сибири и в России…

Абай сам удовлетворенно улыбнулся ходу своих мыслей. Даркембай закивал головой, хотя и не смог еще разобраться в них, многое казалось ему странным. Абай продолжал:

— А вдумаешься глубже, оказывается, что все управители родов — и в Тобыкты, и в Керее, и в Каракесеке, и в Наймане — сородичи с властями Семипалатинска, Омска, Оренбурга, Петербурга. У них один род и один клич. Ударишь по этим — отдастся на тех. Тех заденешь — коснется и этих. Вот где загадка, друзья мои!.. Есть один русский мудрец, который душой болеет за голодный люд, как родной сын. И он сказал, что народ не должен жалобно стонать от насилий, властей, не должен молить кого-то о чем-то… Он должен довериться только своему верному острому топору… Вот слушаю я о ваших бедах и думаю: занести бы скорей топор над вороньей стаей властей, над мерзостями нашей степи… Ударить бы под корень!..

У Абая вырвалось то, что тайно волновало его. Но этим людям прежде всего нужно было помочь делом. Он обвел взглядом лица четверых стариков, слушавших его с напряженным вниманием, и неожиданно для них решительно закончил:

— Съезд будет не в Аркате, а в Балкыбеке. Возможно что он уже начался, так мне говорили в городе. Я не хотел принимать участия в тяжбах, но теперь поеду. Нарочно поеду, чтоб говорить о злодеянии, о котором узнал от вас. И вы тоже отправляйтесь туда же через три дня. Будем требовать с Такежана, Исхака и Майбасара возмещения — и за прошлогоднюю потраву, и за нынешнюю, и за коней. Я сам буду вашим истцом и ходатаем. А от вас пусть приезжают двое. Ты, Даркембай, поезжай непременно! С собой возьми Дандибая — он тоже твердый и мужественный старик, не хуже тебя…

Абай торопливо поднялся.

— Значит, решено! Об остальном поговорим там, на съезде… Только не запаздывайте — через три дня! А мы тронемся сейчас же. Запрягай, Баймагамбет!

Баймагамбет, вполне разделявший чувства Абая, бросился к двери, ловкий и быстрый, как всегда. Абай надел жилет, набросил сверху длинный летний бешмет и взглянул на свои часы. Повернувшись к старикам, он заметил, что те чем-то сильно озадачены: Дандибай наклонился к Еренаю и что-то в недоумении шепчет ему, разводя руками. Абай спросил его:

— Что случилось, Данеке? В чем у тебя сомнение? Ты не согласен?

И он вопросительно обернулся к Даркембаю. Тот взглянул ему прямо в лицо.

— И совет твой хороший и решение правильное. Конечно, не поехав на сбор, мы правды не добьемся… Но бедность окаянная опять нам мешает. Если б хоть не двоим ехать! А ты прав: ехать надо и мне и Дандибаю. А шепчутся они о том, как мы поедем: где найдем мы в ауле одежду, где взять вторую лошадь, когда у нас последних кляч забрали?

— Не на чем ехать, Абайжан, — печально подтвердил Еренай.

Дандибай крепко ругнулся и зло добавил:

— Вцепилась вонючая бедность! Не пускает и туда, где правды добиться можно! Как безногого, к месту приковала!.. До Ералы ягнячий перегон, и то не на чем ехать, а как в такую даль доберешься — до Балкыбека?

Абай быстро нашел выход:

— Даркембаю есть на чем ехать, а другой пусть берег мою пристяжную! Возьми ее на все лето, Дандибай, вернешь, когда будем перегонять табуны на осеннее пастбище… А насчет одежды…

Абай раскрыл свой белый сундук и достал оттуда два куска материи…

— Вот верх, вот подкладка, на один чапан хватит, — сказал он, — отдай скорей шить, Даркембай!

Старики, улыбаясь, заговорили в один голос:

— Пошли тебе бог долгую жизнь!

— Вот это подарок!

— Выручил, Абай, дай тебе бог здоровья!

— Как же так, Абайжан? — удивленно сказал Даркембай, беря отрезы. — Насильничает Такежан, а убытки возмещаешь ты?

Все расхохотались, но старик продолжал:

— Этак на наш иск теперь и не посмотрят, — никуда не ездили, бия не видали, а коня и чапан за убытки уже получили!..

И он весело рассмеялся. Абаю стало легче на душе при виде радости старого друга.

— Полно, Даркембай! Считай, что это — пеня за проступки моего отца против твоего. А с Такежаном и с Исхаком разговор впереди. Тут уж я буду не ответчиком, а обвинителем!.. Но уговор такой: придется кидаться в стычку, не промахнись, бей в упор! Я слышал, что в Токпамбетской битве Байдалы крикнул Суюндику: Бери пример с Даркембая, вот где мужество!» Поэтому-то я и хочу, чтоб ехали ты и Дандибай… Но смотрите — если только вы маху дадите, я потом всем жатакам расскажу, что вы никуда не годитесь! — шутливо закончил он.

Вошел Баймагамбет — кони были готовы. Все направились к выходу. По дороге Еренай смеясь вступился за друзей.

— Если бог не лишит их языка, увидишь, что эти двое не испугаются и самого жандарала! Правильно угадал, кого выбрать, свет мой! Уже если эти батыры в воду не полезут, значит жатакам вовсе не везет!..

Повозка, запряженная вместо тройки парой, ждала у юрты. Провожать Абая вышли и мужчины и дети. Кони взяли с места крупной рысью. Ребятишки бросились врассыпную, поднялся лай заморенных собак, кинувшихся за повозкой.

Еренай, глядя вслед ей, задумчиво сказал:

— Боже всесильный, этот жигит еще в детстве был надеждой родичей… Видно, оправдывается надежда! Да будет счастлив он в жизни! От таких, как он, только добро идет…

И старик повернулся к бедноте, стоявшей вокруг.

— Все семь голов вернуть обещал! Сказал, с самых сильных взыщет… И пеню возьмет за убытки — и за прошлую и за нынешнюю потраву! Обещал добиться — вот увидите, добьется! Вот про что я говорю!

Никто не знал, верить ли такой новости.

— Все семь голов?.. Все вернут?..

— За потраву уплатят?.. И за вторую потраву?.. Да сбудутся его слова!

— Да будет счастлив его путь, если это правда! — перебивая друг друга, заговорили все.

В этих словах звучали и трогательная вера и привитое горькой жизнью недоверие. Все глаза обратились к клубам пыли, вздымаемым удалявшейся повозкой. Всем казалось, что это мчится на сбор их надежда… Весь аул, не отрываясь, долго смотрел вслед Абаю.

3

Выехав из Ералы, Абай и Баймагамбет еще раз переночевали в пути и только в вечеру следующего дня добрались до Байкошкара, где стоял аул Улжан, а рядом с ним и аул самого Абая. Проезжая по урочищу Ботакан, они увидели большой аул. Оказалось, это был аул Такежана. Он сильно разросся, кругом пестрели табуны и стада овец, вокруг Большой юрты хозяина стояло свыше десятка юрт соседей-прислужников.

— Останавливаться тут не будем, — сказал Абай Баймагамбету.

До родного аула оставалось не более ягнячьего перегона, и Абай торопился доехать, пока дети не легли спать. Они поехали мимо крайних закоптелых юрт аула Такежана, и Абай невольно вспомнил о скупости его жены.

— Погляди-ка, Баке, — сказал он, — вон в той лачуге живет, наверное, скотник или сторож. До чего же она убогая! Ну что стоит Каражан дать ему войлоку? Вот ведь богом проклятая!..

Баймагамбет сверкнул на него большими синими глазами и улыбнулся.

— От Каражан добра не дождешься, Абай-ага… Все тут работают только на них… Но одно дело — пользоваться чужим трудом, другое дело — помогать беднякам.

Миновав аул, путники увидели большие конские табуны, спускавшиеся на водопой. Абай удивился:

— Неужели это все косяки Такежана? Когда же они успели так расплодиться?

Со стороны аула вдогонку им скакал верховой. Когда он подъехал, Абай узнал сына Такежана и Каражан, подростка Азимбая. Под ним был вороной конь-трехлетка со звездочкой на лбу — настоящий аргамак, нарядное седло блестело серебряными украшениями.

— Ассалау-магалейкум, Абай-ага, — приветствовал он дядю, поравнявшись с повозкой, и, едва успев поздороваться, передал ему поручение Каражан. — Меня послала к вам мать, велела сказать: «Почему не остановился в нашем ауле, гостинцев, что ли, жалеет? Все равно утром пришлю за конфетами, и за чаем, и за урюком, пускай другие невестки не разбирают…»

И довольный, что ловко поддел Абая, подросток нехорошо рассмеялся. Он был широколиц, смугл, у него были узкие глаза, припухшие выпуклые веки и холодный взгляд.

— Милый мой, — ласково ответил Абай, — если тебе так хочется конфет, поедем к нам в аул, переночуй, а утром возьми все сладкое, что есть в повозке. Я не заехал к твоим родителям потому, что время уже позднее. Впереди ждут отец и старшая мать, я тороплюсь отдать им салем, пока аул не заснул. Это одно…

Абай велел Баймагамбету ехать медленней, и, когда грохот повозки стих, он снова обратился к племяннику:

— Ты вырос, совсем жигитом стал. Можешь понимать, что не все сказанное матерью умно. Сам подумай — разве годится, едва поздоровавшись с дядей, который едет издалека, сразу требовать от него: «Отдай, мол, нам, не обмани…» Если она тебе мать, я тоже не чужой, надо и об этом подумать, понял? — И Абай заглянул в лицо подростка.

Но слова его, казалось, Азимбай принял по-свсему. Его румяное лицо сразу побледнело, брови дрогнули и насупились. Он так ничего и не ответил. Абай сам обратился к нему с новым вопросом:

— Неужели все эти косяки — вашего аула?

— А то чьи же?

— Сколько их тут?

Азимбай промолчал. Он отлично знал число коней, но говорить об этом не хотел — считал плохой приметой. Когда, проверив косяки, он начинал дома подсчитывать их, отец всегда останавливал его: «Тише, не болтай людям о числе скота!»

Баймагамбет понял, что подросток не хочет говорить, но не мог допустить, чтобы вопрос Абая остался без ответа.

— Я слышал, у них нынче с молодняком дошло до пятисот голов, — вмешался он. — Да тут их и не меньше, если не больше…

Азимбай смолчал и тут. Абай тяжело вздохнул: ничего хорошего он в племяннике не видел. Не обращаясь ни к кому, он сказал задумчиво:

— Пятнадцать лет назад мы с Такежаном выделились из Большого дома, каждому досталось по восьмидесяти голов!.. Видно, Такежан насосался на должности волостного!.. Если его не провалят на нынешних выборах, у него косяков еще больше будет…

Азимбай, явно злившийся на дядю, оживился и злорадно засмеялся:

— Как это — если не провалят? Значит, вы ничего еще не слышали? Отец снова стал волостным, вот уже неделя, как все наши аулы празднуют, бега устраивают, веселятся… С вас суюнши за это!

Абай всем телом повернулся к Азимбаю и стал расспрашивать об этой новости. Выборы волостного — крупное событие в степи, но в городе никто не знал, начались ли выборы и кто избран. Абай слышал только, что крестьянский начальник Казанцев выехал для этого в степь.

— Кто избрал твоего отца, в какую волость?

— Избрал начандык Казансып,[45] отец теперь волостной Кзыл-Адырской волости, — гордо ответил подросток.

— Кзыл-Адырской! А кто выбран в Чингизской?

— У нас в Чингизской выбран Шубар-ага, а в Кзыл-Молинской переизбрали дядю Исхака… Три сына хаджи теперь волостные! Ну, тогда, Абай-ага, мне с вас следует суюнши за добрые вести не меньше коня!

Азимбай весь сиял от удовольствия, не в силах скрыть свою чванливую радость по случаю избрания отца и двух близких родственников. Неужели этот мальчик уже отравлен честолюбием? Неужели он умеет уже пользоваться преимуществом власти? «Хорошо ты усвоил уроки старших, рано примешься за дела… Как бы не вышел из тебя властолюбивый и жестокий жигит, не шагнул бы ты дальше отца в своем чванстве!..»—думал Абай, ни словом не ответив на такую радостную весть.

Молчание дяди снова обозлило Азимбая. Он вспомнил, как мать часто повторяла: «Завидует Абай нашему положению, ох и завидует!..» Азимбай давно недолюбливал Абая и сейчас решил про себя: «Завидуешь? Молчишь от злости? Ну ладно, я тебе еще кое-что скажу!..»

Но Абай приказал Баймагамбету: «Погоняй!» — и кони с фырканьем побежали крупной рысью, повозка быстро покатилась по ровной, поросшей мягкой травой долине Ботакана. Азимбаю пора было возвращаться домой — надо было успеть отпустить трехлетку в табун, если будет темно, она не найдет табуна и заблудится. Кроме того, он помнил и о том, что кочевья их граничат с чужими — с племенем Керей. «Как бы не отняли коня», — думал он, но все же не отставал. Ему хотелось побольней уколоть дядю.

Злой и мстительный мальчишка приберег еще одну новость. Все окрестные жайляу твердили о ней, а отец еще сегодня сказал другим иргизбаям: «Абай лопнет, когда услышит об этом! Он всегда помогал Базаралы — пусть теперь осмелится вступиться! Это сделал я, это моя победа над Абаем, — хочет не хочет, а подчиниться придется!»

И Азимбай, погнав коня вскачь, чтобы не отстать от повозки, наклонился к Абаю.

— Да, я еще забыл вам рассказать: Казансып все требовал поймать и сдать ему на руки Базаралы… Ну вот, четыре новых волостных собрались вместе, составили приговор и вчера отправили Базаралы в город!.. Посадили на верблюда, а чтоб не сбежал, на руки и ноги кандалы надели!

Азимбай рассмеялся, оскалив белые зубы, которые зло сверкнули в сгущающихся сумерках. Абай рывком повернулся к племяннику.

— Вот проклятые! — вырвалось у него. — Не успели до власти добраться, старые повадки вспомнили! Хищники вы, звери с волчьей мордой!

Эти слова сами слетели с языка Абая. Не смех ли Азимбая вызвал их? Мальчик раньше казался Абаю злобной собачонкой, теперь же его широкий хищный рот напоминал ему оскаленную волчью пасть.

Азимбай осадил коня и ехидно закричал вслед удаляющейся повозке: ~ Это тебе на дорогу!..

Он еще раз злорадно засмеялся, оскалив зубы, и повернул домой. Красные огоньки далеких аульных очагов звали к ужину жадного на еду Азимбая. Он подобрал поводья и крепко хлестнув коня камчой, поскакал в аул. Ему было весело: он считал себя победителем и мчался в темноте с торжествующим воплем: «Иргизбай!.. Иргизбай!..»

Когда Абай и Баймагамбет приехали в Байкошкар, аул еще не ложился. Абая особенно обрадовало, что дети не спали. Услышав грохот колес, они выбежали навстречу и со всех сторон окружили Абая. Одни карабкались на козлы, другие на задок повозки. Магаш и Тураш залезли отцу на колени, обнимали его, шумели, кричали, всячески проявляя свою радость. Баймагамбет, зная, что Абай, возвращаясь из поездок, прежде всего навещал мать, повернул коней прямо к юрте Улжан.

Улжан встретила его, стоя около своей большой кровати. Абай вошел в юрту, окруженный детьми, и обнял мать. Она нежно поцеловала сына. Айгерим, Айгыз и другие женщины собрались тут же. Явился и Оспан, широкоплечий, огромный, в легком чапане с бархатным воротником, наброшенном поверх белой рубахи, вместе с ним вошла его молодая жена — миловидная, стройная Еркежан.

Оспан был обрадован возвращением Абая и, стараясь перекричать ребятишек, с громким хохотом делился с братом общей радостью аулов Кунанбая — новостью об избрании трех волостных из их семьи — и шумно требовал суюнши. Абай негромко ответил, взглянув на мать:

— Да будет это к счастью. Видно, вы все в большой радости…

Улжан поняла, что новость не радует сына, и прибавила так же тихо:

— Да будет это к общему счастью, сын мой!.. Оспан продолжал бурно высказывать свои чувства:

— Да продлится эта радость, умноженная на радость! — повторял он, намекая на другую новость — о Базаралы. Абай знал, что упрямый и резкий Оспан ненавидел его не меньше, чем Такежан. На явное злодеяние он не пошел, но ссылка Базаралы вполне утоляла его болезненное самолюбие. Его редкие черные усы торчали, как конский волос, жиденькая, черная, как уголь, бородка топорщилась во все стороны. Всякую приятную новость этот великан встречал необыкновенно бурно. По своей наивности он полагал, что братья всем обязаны Абаю.

— Наши волостные воображают, что начальство избрало их за известность и влияние! А я им говорю: «Побойтесь бога, не зазнавайтесь, откуда вас начальство знает? Вы думаете, Абай зря глотал городскую пыль и пекся там с ранней весны до самой жары? Откуда свалились на вас такой почет и доверие? Это Абаевых рук дело! Он в городе с большим начальством знается, он с ними и договорился!» Сразу им рты заткнул!

Абай усмехнулся.

— Хоть ты и ближе всех ко мне, Оспан, — покачал он головой, — а заблуждаешься так, будто идешь в темную, безлунную ночь… Ну, Шубар еще туда-сюда — он хоть и молод и себя еще не показал, но жигит достойный… Но неужели я стал бы поддерживать Такежана, который, побыв волостным, увеличил свои табуны с восьмидесяти до пятисот голов?.. Или Исхака, который в Кзыл-Молинской волости покрывает тобыктинских воров?.. Я верю, что ты так уважаешь меня, что готов и чин на меня навесить, но к этим выборам я и пальцем не прикоснулся… Не путай людей, брось это говорить!

Слова брата не убедили Оспана.

— Ладно, толкуй, все равно не найдешь ни одного тобыктинца, кто бы поверил этому! — возразил он. — Трое сыновей Кунанбая на одних выборах стали волостными — ни одна собака не поверит, что Абай не вмешался в это дело, если все время жил в городе!.. Лучше не отрицай и принимай благодарность братьев! Я везде буду, говорить, что все это сделал ты… Им почет — как волостным, а тебе еще больший почет — ты их сделал волостными! Враг ты себе, что ли? Сам бог тебе почет посылает, а ты отказываешься!..

Было ясно, что Оспан от своего не отступится, и Абай не стал спорить с ним при матери и детях. Он подозвал Абиша и начал расспрашивать его об ученье.

— Я теперь и по-русски учусь, — похвалился мальчик. — А ты и не знал? Как только с зимовки уехали, начал учиться!

Это была новость, которую семья берегла для Абая.

— Ого! У кого же ты учишься? Кто здесь учит по-русски?

Абай притянул к себе светлолицего миловидного мальчика и поцеловал его в лоб. Улжан объяснила:

— Весной, как ты уехал в город, к нам в Жидебай приехал молодой русский жигит… Он год служил в городе толмачом, его так и зовут — бала-толмач.[46] Пришел ко мне, говорит, что болен, приехал в аул лечиться кумысом, попросился жить у нас и учить детей по-русски… Я вспомнила, что ты этого хотел, и отправила его в Акшокы… Не только Абиш — и Магаш и Гульбадан учатся у этого бала-толмача Баева…

Абай искренне обрадовался новости. Он спросил Айгерим:

— Ну и как учатся? Так же усердно, как с Кишкене-муллой? Хорошо ли устроили учителя?

Айгерим заговорила — и Абай понял, как соскучился он об этом голосе.

— Дети учатся с большой охотой, даже по дороге на жайляу ни одного дня не пропустили… И сам толмач, видно, к ним привык — то учит, то разговаривает по-русски, а то сядет на стригуна и гоняется с Абишем!. — Айгерим улыбнулась своей нежной улыбкой и добавила — Забавные эти русские муллы!.. Ничуть не важничает, не гордится и детей учит шутя, все с играми… Ребятишек от него не оторвешь…

Абай выслушал ее с большим вниманием и одобрительно кивнул головой. Оспан принялся подтрунивать над невесткой:

— Ладно, ладно, не муллу хвалит, который шариат и божьи заповеди толкует, а какого-то толмача!.. Смотри, Абай, она сама русским грамотеем станет, подладит голос, — и он забавно передразнил Айгерим, сказав несколько ломаных русских слов.

Все расхохотались, а громче всех сам Оспан.

Абай спрашивал детей, как называется по-русски та или другая вещь, и с удовольствием слушал, как они отвечали, перебивая друг друга. Готовность их показывать свои успехи радовала его.

После ужина он пошел с ними к юрте Айгерим. Абиш, Магаш и Гульбадан шли, забравшись под его широкий чапан и прижимаясь к отцу. В душе его было гордое удовлетворение. Он вспомнил своего племянника Азимбая. Как не походили его дети на сына Такежана, уже научившегося причинять людям зло!.. Эти были настоящими детьми, чистыми, белыми, как молоко. Он чувствовал отцовскую гордость, видя, как увлекает детей ученье, как они сами все настойчивее требуют знаний. Обняв Абиша, он сказал ему:

— Светик мой дорогой… Как хорошо, что ты начал учиться по-русски! По-нашему ты учился достаточно, нынче я надолго отдам тебя в русскую школу… Бог даст — ты вырастешь большим ученым человеком… Это—самое мое большое отцовское желание, сынок! Меня так радует, что ты сам, без меня, начал ученье, светик мой!..

Абай остановился, глядя на полный диск луны, высоко поднявшийся в небе. В душе он повторял свою самую заветную мечту: «Не погуби его жизни!.. Все, чего не удалось получить мне, — знание, лучшие человеческие качества — пусть дастся сыну моему… Сделай его счастливым, освети его путь, создатель!..» Это была горячая безмолвная молитва.

Он прижал к себе любимого сына. Абиш молчал, но видно было, что внимание отца глубоко взволновало мальчика, он даже побледнел.

— Хорошо, ага, хорошо, — тихо сказал он.

Магаш, чуткий и по-детски наблюдательный сразу уловил, что отец и старший брат заключили договор. Он ухватился за пояс отца и вмешался:

— Вот еще, отец, почему только Абиш? И я поеду в город учиться по-русски!

В его голосе слышалась обида. К нему тотчас присоединилась Гульбадан:

— Отец, и я поеду! Учи и меня по-русски! Спроси у Баева, он всегда говорит, что я раньше всех научусь говорить по-русски! Я сама поеду, вот и все, — заявила она.

Абай счастливо улыбался, все еще не входя в юрту. Он погладил по головке Гульбадан, поцеловал надутые от обиды щеки Магаша и пообещал:

— Ладно, осенью и вас обоих повезу с Абишем учиться… Всех повезу, обещаю вам!

У входа его ждала Айгерим, наблюдая за ними с молчаливой улыбкой. Она откинула войлочную дверь и пропустила Абая в юрту.

НА РАСПУТЬЕ

1

На Балкыбекский съезд с Абаем поехали его неизменные товарищи Ербол, Баймагамбет и Шаке. По дороге они остановились в ауле у Ербола, где к ним присоединился Асылбек, отстраненный на недавних выборах от должности волостного, на которую его выдвинул в свое время Абай.

Вместе с Абаем поехал на съезд и его старший сын от Дильды — Акылбай. Нурганым постаралась принарядить своего воспитанника: на голове его была соболья шапка, на плечах—черный бархатный чапан, седло покрыто зеленым сафьяном и украшено серебром. Он выглядел настоящим щеголем-мирзой. Его сопровождали двое слуг. Один из них — Казакпай, черкес с большим горбатым носом и глубоко посаженными серыми глазами, — был гораздо старше Акылбая, почти ровесник самому Абаю. Нурганым нарочно послала его с юношей, чтоб за тем был надзор взрослого спутника. Второй был одних лет с Акылбаем — молодой жигит Мамырказ, большеглазый и светлолицый великан, острослов и весельчак. Акылбай с ним очень дружил и никогда не расставался.

И сейчас они ехали вместе поодаль от старших. Они все время о чем-то негромко разговаривали или шутливо болтали, порой отставая от всех, и потом мчались мимо старших, обгоняя друг друга и далеко уезжая вперед. Абай, усмехнувшись, сказал Ерболу:

— Кажется, у них крепкая дружба! В жизни человека бывает время, когда друзья никак не могут обойтись один без другого, словно щенята из одной конуры…

И он выразительно взглянул на друга. Тот засмеялся: Абай ясно намекал на светлые дни молодости, проведенные ими вместе. Однако, посмотрев на Акылбая и Мамырказа, Ербол покачал головой:

— Дружба?.. Вряд ли… Я думаю, у них в голове только девушки. Вот по этой дорожке они далеко ушли!

Его слова всех рассмешили. Но Абай, посмотрев вслед юношам, задумчиво сказал:

— Может быть, и так… Мы не знаем, что в душе у Акылбая… Он очень избалован. Как бы не вышел из него себялюбивый мирза!.. Такие сторонятся тех, кого люди считают умными, и любят тех, кто им льстит, кто твердит: «Ты лучше всех!..»— приближают к себе того, кто баюкает их гордость… Может быть, и здесь то же, бог ведает… Ербол не удержался от шутки:

— Чего ты от него хочешь? Признайся лучше, что ты просто придираешься к нему за то, что из-за него мальчишкой в отцы попал!..

Это была смелая шутка, которую мог позволить себе только Ербол по давней своей дружбе с Абаем. Асылбек и Шаке рассмеялись:

— Ну, Ербол взял Акылбая под защиту!

— Значит, прыгай, баловник, и дальше без удил!.. В Балкыбек они приехали к полудню.

На сборе должны были сойтись четыре племени — Тобыкты, Сыбан, Керей и Уак — разбирать тяжбы, споры, взаимные счеты. Для такого съезда нужно искать землю, не принадлежащую кому-либо из спорщиков: воротилы тяжущихся племен всегда стараются воспользоваться близостью своего населения и его численным перевесом. Балкыбек же находился на меже Тобыкты, Сыбана и Керея. Это урочище, изобиловавшее и водой и сочными кормами, пустовало из года в год: если одно племя занимало его, два остальных подымали шум: «Убирайся, это земля общая!» Для съезда нельзя было найти места удобнее.

Балкыбекский съезд должен был собрать население девяти волостей двух уездов — Семипалатинского и Каркаралинского. Четыре из них были заселены Тобыкты, две — Сыбаном, две — Уаком и одна — Кереем.

Сейчас как никогда иргизбаи могли влиять на дела сбора. Кругом только и говорили о том, что два сына и внук Кунанбая получили три волости в управление. Те из тобыктинцев, кто принадлежал к сильным и богатым аулам и мог сам рассчитывать на должность, были и обижены и встревожены.

— Везет иргизбаям! — говорили они с досадой и завистью. — Когда Кунанбай был ага-султаном, они выше всех стояли. Теперь Кунанбай отошел от мирских дел, отдыхает, словно старый верблюд на золе очага, а власть и счастье всё за ним тянутся… Трое его волчат правят тремя волостями! Даже в четвертой тобыктинской волости, в Мукыре, и то волостным стал его зять Дутбай! Значит, всё Тобыкты теперь в кулаке у иргизбаев! И не только Тобыкты — Исхак крыльями и Сыбан и Уак задевает… И Чингиз и Иртыш у них под властью, вот уж и верно повезло!..

Обо всем этом Ербол рассказал Абаю в пути: он уже побывал на сборе несколько дней тому назад, присматриваясь к настроению народа. Под именем народа на сборе подразумеваются далеко не все: «народ» — это аткаминеры, бии и волостные, люди, облеченные властью и произносящие на сборе речи, а также те, кто их окружает. О них и говорил Ербол.

— Ну и взяточники! — возмущался он. — Вот обжоры! Раньше про таких говорили: «Верблюда живьем проглотит», а теперь не знаешь, что и сказать… Овец— отарами, коней — целыми косяками берут… Да и городские начальники, чтоб их бог покарал, без стеснения хапают: один Исхак двадцать отборных коней Казанцеву отдал за должность для Такежана! Понятно, почему у того Такежан с языка не сходит!.. А теперь новые волостные принялись возмещать свои убытки, кровь у народа сосут…

— Ну, а бии что — неужели и они все тоже взяточники? — спросил Абай.

— Обо всех не скажу, но, конечно, и они себя не обидят. Посуди сам: идет, скажем, тяжба между Кереем и Тобыкты, спорщики сперва обращаются к волостным, а те, передавая дело бию, обиняками дают понять: «Присудишь в пользу того-то — получишь…» А бии—святые, что, ли, чтобы выносить решение по справедливости?.. Ну и делятся…

— Говори прямо — неужели и Жиренше с Уразбаем берут?

— А как же? Тут и спрашивать нечего! Абай покачал головой:

— А я обоих их считал друзьями!.. Сам же их в бии вывел… Может быть, ты преувеличиваешь? Я хотел бы по-прежнему верить в их честность… Если и они взяточники — где же взять честных людей?

Абай замолчал, горько задумавшись. Замолк и Ербол, воздержавшись от дальнейших рассказов об их грязных проделках: говорить плохое про людей, которых другой называет друзьями, он не мог. Абай сам когда-то повторял ему: «Ссора с близкими и друзьями рождается сплетнями и нашептываниями».

Абай и его спутники долго не могли разыскать места, где остановились родичи. Юрты бесконечными вереницами тянулись по обоим берегам реки, порой в два ряда, образуя правильные улицы. Семи-восьмистворчатые юрты попадались редко, — большинство съехавшихся привезли пяти-шестистворчатые новенькие белые юрты, разукрашенные цветным сукном и вышивками.

В стороне от них лепились кучками маленькие, закопченные: это были кухни и помещения для прислужников. Вдоль рядов юрт стояли на привязи жеребята — на съезд вместе с верховыми и упряжными конями пригнали и дойных кобылиц.

Вскоре Абай и его друзья увидели юрты, поставленные для начальства. Посредине возвышались три восьмистворчатые, соединенные друг с другом, а по обеим сторонам их были установлены в несколько рядов юрты поменьше, тоже соединенные по две, по три. Вокруг суетились волостные, бии, старшины, шабарманы. Здесь же сновали пастухи и просто съехавшийся люд. Пестрота чапанов и камзолов, разнообразие седел и конского убора привлекали внимание Абая. По различному покрою шапок можно было видеть, что тут были представители всех съехавшихся племен и родов: мелькали четырехклинные низенькие шапки тобыктинцев, высокие и узкие тымаки кереев, стеганые шестиклинки сыбанцев и восьмиклинки уаков. Выстроившись в ряд, перед юртами начальства стояли со своими толмачами волостные, их кандидаты и все бии-долынжи[47] Сыбана, Тобыкты, Керея и Уака. Из главной юрты вышли чиновники в белых картузах и в кителях с золотыми пуговицами в сопровождении урядников и стражников.

Глядя на эти приготовления, Ербол рассмеялся:

— Что это они выстроились? Поминанье, что ли, читать собираются?

Шаке тоже удивился:

— И встали отдельно от всех… Отделились от народа, как козы от овец! Зачем это?

Асылбек, сам бывший волостной, объяснил причину такой суматохи:

— Начальства ждут… Ояз приехать должен… Да вон, смотрите, уже и повозки видны!

По ровной зеленой долине к юртам неслись вскачь шесть-семь повозок, звеня колокольчиками. Впереди сломя голову скакала целая толпа шабарманов и стражников, поднимая на весь Балкыбек шум и топот, как на большой байге.

— Какой ояз! Тут целая куча начальства едет! — заметил Абай.

Шаке, который тоже побывал здесь несколько дней назад и знал все новости от своего брата Шубара, нового волостного, подтвердил.

— Говорили, что приедут два ояза нашей области — и наш семипалатинский уездный и каркаралинский… Наверное, это они…

Действительно, две большие повозки отделились от остальных и остановились у юрт. Уездные начальники направились к входу, волостные и толмачи потянулись за ними, разбившись на две кучки, а старшины и шабарманы поскакали в разных направлениях, не разбирая дороги, ругая каждого встречного и размахивая нагайками.

— От сумасшедшего лучше подальше держаться, — сказал Ербол, тронув коня. — Поедем-ка в сторону, они от одного вида начальства одурели!

Им пришлось долго разыскивать свои юрты. Баймагамбет, Мамырказ и Казакпай метались по сторонам, расспрашивая всех, где стоят юрты сыновей Кунанбая. Баймагамбет первым вернулся к спутникам с сообщением:

— Юрту Такежана нашли!

— У него останавливаться не будем, — коротко ответил Абай.

Потом прискакал Казакпай:

— Ха! Здесь аул Исхака! Остановиться туда будем, Абай? — сказал он, забавно ломая казахские слова: за многие годы он так и не научился хорошо говорить по-казахски.

Абай так же коротко отказался. Ербол пояснил остальным:

— Нынче он — волостной Кзыл-Молинской волости, зачем быть обузой чужому роду?..

Братья-волостные расположили свои юрты в одной линии: следующая стоянка принадлежала внуку Кунанбая Шубару, новому волостному Чингизской волости. Он сам выехал к родным на рыжем иноходце. Это был высокий и широкоплечий жигит с правильными чертами лица, чуть заметно тронутого оспой. Для избрания в волостные ему не хватало двух лет, но иргизбаи записали его двадцатишестилетним и выдвинули на эту должность: несмотря на молодость, он был грамотнее и образованнее других и, проучившись у Габитхана около десяти лет, мог даже получить звание муллы. Не довольствуясь этим, он по примеру Абая выучился по-русски у своего толмача. Решительный, деятельный, смелый, он выделялся среди сверстников и на сборах нередко давал направление спорам и решениям. Старшие родичи поручали ему на выборах и переговоры с русским начальством.

Шубар громко отдал дяде салем и тут же пригласил его:

— Абай-ага, вот наши юрты, зачем вы едете мимо? Останавливайтесь все у нас!

Абай приветливо поздоровался с ним, поздравил с избранием на должность в таком молодом возрасте, но отказался:

— Ты теперь человек должностной, у тебя много хлопот. Вокруг твоей юрты суматохи достаточно — тут и приезжее начальство, и жалобщики, и ходатаи, и, наконец, близкие друзья. А мы привыкли не стеснять себя, рано ложимся, поздно встаем… Нам удобнее будет у Оспана, разреши нам поехать к нему…

Шубару было немного досадно, что Абай отказался от его гостеприимства, но упрашивать он не стал.

— Тогда я хотел бы сказать вам несколько слов, Абай-ага, — задержал он дядю, пропуская вперед всех остальных. — Сейчас, когда приехал ояз, мы, волостные, вошли вместе с ним в Гостиную юрту. Он сразу спросил: «Приехал ли на съезд Ибрагим Кунанбаевич?» Это нас сильно обрадовало, я первый ответил: «Да, он здесь, придет к вам поздороваться…»

Шубар не мог скрыть своего удовольствия, что благодаря Абаю ему удалось показаться начальству.

— Хорошо, если бы вы зашли к нему, — продолжал он. — Вы знаете, сколько народу сюда понаехало, все втихомолку друг друга подсиживают… Если бы вы пошли к оязу просто поздороваться и показаться ему раньше других, для нас это было бы очень важно…

Абай понял, что приехал Лосовский, и решил зайти к нему, но, конечно, не с той целью, о которой говорил Шубар: он просто был рад встретиться с человеком, с которым был связан добрыми отношениями и взаимным уважением.

— Можешь не упрашивать, я непременно буду у него, — ответил он и направился к юртам Оспана, где его уже ждали спутники.

Здесь собралось множество гостей. Хотя Оспан и не был волостным, он, как хозяин Большого дома Кунанбая, тоже выставил на съезд пять больших юрт. Нынче он приказал зарезать серую кобылицу со звездочкой на лбу, что делали всегда перед каким-нибудь важным событием — перед походом или разбором крупного тяжебного дела — в знак верности и правдивости. На угощение он созвал всех волостных управителей обоих уездов, собравшихся в Балкыбеке.

В большой восьмистворчатой юрте сидел волостной Жумакан, сын одного из влиятельных старейшин Сыбана. От Керея пришел ловкий волостной Тойсары. Здесь же был представитель одного из родов Тобыкты — задорный, самоуверенный волостной Молдабай, здоровенный, разжиревший жигит. Пришли и Такежан, и Исхак, и другие волостные.

Никто не тратил слов попусту. Молчаливо наблюдая друг за другом, каждый старался угадать заранее, кто сумеет нынче добиться у начальства уважения и почета. Внешняя взаимная вежливость прикрывала глубоко скрытые зависть и ненависть. Они говорили обиняками, немногословно, осторожно. Не сегодня-завтра предстоял разбор тяжбы между Сыбаном и Кзыл-Адыром: точнее сказать, это будет спор между волостными Такежаном и Жумаканом. Следующим пойдет дело племен Мотыш и Керей: это также будет схватка волостных—Молдабая и Тойсары. Межплеменного съезда не было уже несколько лет, и поэтому между Тобыкты и Кереем, Кереем и Сыбаном, Сыбаном и Тобыкты дел накопилось множество: и по барымте, и по набегам, и по увозу невест, и по другим жалобам. Скоро бии начнут состязаться в красноречии, стараясь выиграть дело, и каждый из сидящих здесь волостных хорошо помнит об этом и соблюдает осторожность.

Одному Абаю чужды были их опасения и тревоги. Он оживленно начал расспрашивать Жумакана и Тойсары о тяжбе между Кереем и Сыбаном. Это было крупное дело, давно волновавшее весь округ и до сих пор не решенное. В связи с этой тяжбой обе стороны делали набеги и угоняли друг у друга коней. Тяжба эта была известна под названием «тяжба девушки Салихи». Абая занимало это дело.

Тойсары воздержался от ответа, но Жумакан, злобно взглянув на противника, поддержал разговор:

— Если захотеть, мир восстановить не трудно, дорогой мой Абай. Но как судить народ, когда девчонка — и та не хочет смириться и подчиниться?

Видно было, что Жумакан упрекает всех кереев и что эта тяжба крепко поссорила оба племени. Такой разговор мог вконец испортить настроение гостей, и Абай прекратил расспросы.

Появился кумыс, и все оживились. Кое-кто из гостей заговорил о том, что сейчас самое время послушать песни. Шаке сидел, тихо перебирая струны домбры; Абай взял ее у юноши и протянул акыну Байкокше, приехавшему из Кзыл-Адыра вместе с Такежаном. Здесь акын поселился в юрте Оспана, но бывал всюду, знал все слухи и время от времени делился с Оспаном своими наблюдениями.

— Все они тут взятками объелись, — говорил он, — и волостные, и старшины, и уважаемые наши бии. Слушай, Оспан, если тебе мало того, чем владеешь, — становись волостным! Тогда и с правого и с виноватого будешь драть, и никто тебя судить не посмеет!

Оспан с любопытством слушал новости Байкокше.

— Как ты узнаешь все их дела? — спросил он акына. — Ведь они берут из-под полы, договариваются тайком и получают темной ночью… Знахарь ты, что ли?

Байкокше открыл ему свою уловку.

— Только не говори никому: я просто стараюсь дружить с шабарманами всех волостных, — разве не через их руки проходит все, что дают и берут? Они от меня ничего не скрывают. А от посыльных других управителей они знают все проделки их хозяев и тоже мне рассказывают…

Приняв домбру из рук Абая, Байкокше запел тут же сложенное приветствие собравшимся. Развеселившись от выпитого кумыса, волостные сопровождали его пение шумными одобрительными возгласами:

— Молодец!.. Из всех нынешних акынов — он первый!

— Пой, соловей!.. У него старая школа, сразу видно! Байкокше, хмурый и тощий, пел, даже не подымая век, — видно было, что все эти похвалы не производили на него никакого впечатления и не льстили ему. После первой песни-приветствия он изменил напев, и слова изменились вместе с ним. Теперь он пел о другом: «Ты достиг цели, стал знатным, добился власти. Если ты честный человек — не обижай бедного, не покровительствуй злодею, не отдавай робкого ему на растерзание. Не обирай в жадности народ, не губи его счастья, не виси у него на шее». Он не назвал ни одного имени, но каждому было ясно, что весь яд этих слов предназначался большинству из сидевших в юрте волостных.

Этой песне ни один из них не выразил одобрения. А самоуверенный и наглый Молдабай просто обиделся.

— Вы не думайте, что этот Байкокше — и вправду кокше,[48] — сердито сказал он. — Он себе на уме — тишком-тишком, а доберется до тебя и мигом очернит твой труд!

— Не лучше ли слушателям придержать язык? — рассмеялся Асылбек. — Акын скажет — на многое свет бросит!

Волостные, недовольные песней, пытаясь перевести разговор на другое, стали громко шутить друг с другом, но Абай снова привлек общее внимание к акыну:

— Тем и ценна песня Байкокше, что это не лесть просителя, не славословие бродяги-нищего, — сказал он. — Это острый глаз всего народа, голос народный, говорящий раньше самого народа.

— При чем тут народ? — вспылил Такежан. — Никакой народ не поручал ему говорить такими словами, горькими, как яд! Это уж его самого бог наградил злобным нравом!

Исхак и Тойсары поддержали его:

— Не путайте его с народом! Его злоба для народа — зараза!

— Чесоточный конь обо все трется!

Абай только усмехнулся.

— А кто без ропота слушает правду? — весело ответил он. — Ваши слова прямо говорят: не лезь с правдой, рассердишь! Где уж нам народ слушать, если один Байкокше нас из себя выводит!

— Байкокше — не народ! — не унимался Такежан.

Но акын, до сих пор молча слушавший спор, тихо перебирая струны домбры, теперь вмешался сам:

— Э-э, нет, волостной мой! Байкокше как раз и есть народ! Другое дело, что вам-то слушать его не по нутру, а Байкокше только повторяет то, что говорит народ…

— Ну, коли так, спой мне в четырех строках, все что говорит народ! — с издевкой сказал Такежан. Остальные подхватили его слова, осыпая акына и Абая колкими насмешками.

Абай, подзадоренный, с улыбкой взглянул на Байкокше.

— Ну, что ж, тянуть нечего, Байеке, я начну, а ты заканчивай! Давай ответим им, что говорит про них народ! И он громко начал:

Густою травой жайляу в низинах покрыт,

На легкое счастье родится иной жигит…

Акын сидел на корточках. Он привстал, насмешливо поднял брови и быстро закончил в лад Абаю:

Поставят за ловкость его волостным —

Он только взятки берет, пока не слетит!

— Вот что говорит народ! — добавил он и, взглянув на Такежана, громко расхохотался. Острое слово вызвало вокруг невольное шумное одобрение. Такежан вспыхнул и отвернулся.

— Болтун! — буркнул он. — Чтоб тебе язык припалило… Абай покатывался со смеху. Потом, поднявшись с места, он сказал на прощанье:

— Молдабай, видно, ошибся: для волостных это не Байкокше, а Жайкокше!..[49] —и он вышел из юрты с тем же громким смехом.

Волостные насупились. Так жирные гуси и дрофы, заметив реющего над ними сокола, затихают и прижимаются к земле. Оспан, увидев, что шутка акына обидела большинство его гостей, недовольно сказал Байкокше:

— Ну, хватит! Помолчи! — И начал сам разливать по чашкам кумыс.

Шубару тоже стало неловко и за дядю и за приглашенных им аткаминеров.

— Чтоб у тебя язык высох, Байкокше! Разве прямодушие в том, чтобы издеваться над другими? Где ты научился забывать приличия и, поев угощение, плевать в посуду? — сказал он.

Слова племянника разбередили обиду Оспана. Выпуклые глаза его сверкнули злыми огоньками, и он уставился на акына.

— Я собрал сюда родичей на жертвенную трапезу, чтоб они отдохнули и повеселились. Коли ты такой умный, должен помнить пословицу: «Доброе слово — половина счастья». Я думал, ты скажешь нам всем добрые слова, а ты вон как! Не заводи у меня в юрте ссор и пререканий!

После такой отповеди хозяина Байкокше, Шаке и Баймагамбет не стали задерживаться и поодиночке вышли из юрты.

Вечером Абай пришел повидаться с Лосовским. Увидев старого знакомого, Лосовский, загоревший на степном солнце, встал с места и пошел ему навстречу. Они крепко пожали друг другу руки. После приветствий и расспросов о здоровье Лосовский усадил гостя рядом с собой и стал рассказывать ему о деле, по которому производил дознание сам. На столе лежала пухлая пачка бумаг — прошение, которое составляют несколько родов и которое на канцелярском языке называется «приговором». Лосовский рассказал Абаю, что все многочисленные подписи и печати на этих бумагах оказались поддельными.

— Вы кстати пришли, Ибрагим Кунанбаевич, помогите-ка мне, — сказал он. — Это прошение одного молодого киргиза Мукурской волости, Жанатаева Кокпая, на имя господина губернатора. Дело идет о том самом урочище Балкыбек, где мы с вами находимся. Приговор составлен управителями шести волостей, заинтересованных в этом урочище. Вот смотрите, что тут написано: «Мы все, волостные управители, согласились в том, что означенное урочище Балкыбек издавна принадлежит Жанатаеву Кокпаю, приписанному к Мукурской волости, что оно должно быть возвращено подателю прошения, и в дальнейшем просим считать урочище Балкыбек принадлежащим Жанатаеву Кокпаю…» И везде — целая куча печатей. Кажется, все правильно? Я стал проверять. Не говоря уж о других волостных — даже сам мукурский волостной заявил, что к такому приговору печати не прикладывал. Все это оказалось грубой подделкой. Вот посмотрите…

Лосовский начал перелистывать бумаги и указывать на печати, приложенные в нескольких местах.

— Проситель утверждает, что все это подлинные печати шести волостных. А на самом деле — это одна и та же печать аульного старшины, она и приложена-то нарочно так, чтобы размазалась… Ведь это крупный подлог! И сделал его совсем молодой жигит!.. Вот говорят, наши канцелярии не знакомы со степной жизнью, совершают массу ошибок, доходящих до глупости… А кто в этом виноват? Причиной таких ошибок и бывают подобные дела, — то дадут ложную присягу, то пришлют ложный донос, то скрывают грабеж вот такими приговорами… Возмутительно!.. Я вызвал этого просителя-мошенника, он сейчас придет, а пока — будьте моим гостем…

Лосовский повернулся к седоусому стражнику, стоявшему у дверей, и приказал:

— Вели подать сюда чаю!

Волостные управители, недавно сидевшие за угощением в юрте Оспана, теперь толпились у дверей тройной юрты начальства. В те редкие минуты, когда двери открывались, некоторые пытались заглянуть в юрту и тогда видели, что Абай сидит рядом с оязом и рассматривает бумаги. Одни радовались, другие завидовали, третьи ревновали, — словом, у дверей не смолкали, шушуканье и шепот. А когда стражник, выйдя из юрты, крикнул: «Подавай чай!» — удивлению волостных не было конца.

— Это Абаю чай?..

— Ояз его как гостя потчует!..

— Значит, он его друг! — зашептались они. Их мысли тотчас устремились к тому, какое влияние окажет это событие на предстоящий разбор тяжеб.

— Ну, теперь уж ясно, что на этом съезде все будет так, как пожелает Тобыкты! Разве Кунанбаевы дети дадут кому-нибудь пикнуть, когда Абай уже обработал ояза! — злобно рассуждали они.

Жумакан, Тойсары и Молдабай никак не могли забыть слов Байкокше. Еще час назад, возвращаясь с жертвенной трапезы у Оспана, они говорили о дерзком акыне.

— Акын не от себя так дерзил, — заметил Жумакан, — это Абай говорил его устами. Что это с ним?

— Да, это Абаевы выдумки, — подтвердил Тойсары. — Заставил своего акына облаять нас, добился своего и ушел. Чего ему нужно?

— Нынче сыновья Кунанбая в силе… Замышляет он что или угрожает? — рассуждал Молдабай. — Добился же он того, что в волостные сразу три волчонка Кунанбая выскочили, зиму и лето в городе сидел, якшался с властями… Видно, спесь и чванство его обуяли!

Теперь, узнав, что Абай один пьет чай у ояза, эти же волостные прикусили языки. С одной стороны, они завидовали Абаю, а с другой — каждый, стараясь не показать этого остальным, подумывал: «Уж если жить с кем в ладу, так это с Абаем… Надо во что бы то ни стало склонить его на свою сторону…»

Беседа Абая с Лосовским за чаем не касалась ни степных дел, ни волостных, ни самого съезда. Абай сразу же сказал Лосовскому:

— Я приехал сюда просто посмотреть на съезд. У меня только одно дело тут — хочу заступиться за бедняков жатаков, которых ограбили богатые аулы. Если мне не удастся самому помочь им, пожалуй, придется действовать в качестве ходатая, но пока говорить об этом не будем… К вам я пришел лишь приветствовать вас и узнать о городских новостях, хотел спросить и про общих друзей — Евгения Петровича и Акбаса Андреевича…

— Ну и великолепно, Ибрагим Кунанбаевич, — обрадовался Лосовский. — Я вам очень рад, ведь вы — единственный мой собеседник здесь, в степи!

Он охотно стал рассказывать Абаю о друзьях, о городе, о петербургских газетах и журналах, о последних полученных книгах. Беседу их прервал жирный, краснолицый урядник. Он вытянулся в дверях и доложил:

— Ваше высокоблагородие, Кокпай Жанатаев прибыл. Прикажите ввести?

— Приведи, — приказал Лосовский.

Урядник ввел из передней юрты широкоплечего, высокого жигита, почти юношу. Абаю понравился и его открытый лоб и сосредоточенный взгляд больших серых глаз, прямой нос с небольшой горбинкой. Но особенно его поразил звучный гортанный голос жигита, когда тот первый поздоровался по-русски:

— Здравствуйте, господин начандык!

Потом он взглянул на Абая, и глаза его заблестели.

— Ассалаумагалайкум, Абай-ага! — приветствовал он его, почтительно приложив правую руку к сердцу.

За Кокпаем вошел толмач и стал рядом с жигитом. Лосовский начал допрос. Абай услышал, что Кокпаю двадцать лет, что он — шакирд, много лет обучающийся в медресе хазрета Камали, что он происходит из рода Кокше и стоит в родстве с волостным Мукурской волости Дутбаем.

— Жанатаев, — обратился к нему Лосовский, — сегодня все шесть волостных, даже твой родственник Дутбай, засвидетельствовали, что эти документы подложные… Не будем говорить о русских законах. Ты учишься в мусульманском медресе, скажи — какое наказание должен получить по шариату лжец? Ведь ты еще очень молод. Если с этих лет вступил на путь обмана и преступлений, что тебя ждет дальше? Я крепко на тебя сержусь. Ведь ты — грамотный и отлично понимаешь, что сделал. За преступление, совершенное по незнанию, можно снять половину вины, но за сознательное следует карать вдвойне. Что ты на это скажешь?

Толмач быстро переводил слова Лосовского. Когда он замолчал, Кокпай откашлялся, будто собираясь петь, прочищая горло протяжным гортанным звуком, и Абай вспомнил, что несколько лет назад ему говорили о Кокпае, который славился как отличный певец.

Кокпай, покашливая, переводил взгляд с Абая на Досовского, потом опять на Абая. Вспыхнув сперва от смущения, он вдруг побледнел и начал говорить:

— Таксыр, моя вина тяжка, я согласен… Но почему я сделал это? Выслушайте меня. Тогда ваше решение я приму не как муку, а как справедливую кару…

— Почему же ты поступил так?

— От нужды. От нищеты. Я родом из слабого Кокше. С одной стороны у нас сосед — Мамай, сильное племя, большими землями владеет, с другой — Тобыкты, тоже богатое. Все лучшие жайляу принадлежат им. А мы тут как иголки понатыканы. Нас около сотни хозяйств, а теснимся мы все по одной речке Баканас, она не длиннее языка. Балкыбек у нас под боком, он ближе к нам, чем к Сыбану, Керею или Тобыкты. Долина не принадлежит никому, из года в год пустуют такие широкие луга, такая большая река… И так близко от нас — не дальше ягнячьего перегона… Вот я и решился помочь своим родичам. Приговор подложный, ни один волостной к нему печати не прикладывал. Они прикладывают ее за взятку, или для сильной родни, или для своей выгоды. Согласия их я бы не получил, а на взятку у нас нет имущества. Я сам составил этот приговор. Но не для себя, а для нищих хозяйств. Теперь я рассказал всю правду. Готов выслушать любое ваше решение, принять любую кару. Накажете — вот вам моя голова, простите — буду ваш всем сердцем.

Юноша говорил высоким приятным голосом, Абай внимательно следил за тем, чтобы толмач не исказил слов жигита. Его привлекали и открытое лицо, и смелость Кокпая, и то достоинство, с которым он говорил. Он готов был ходатайствовать за него, если Лосовский решит его наказать.

Лосовскому часто приходилось иметь дело с просителями. Опытным взглядом он сразу определял их характер и повадки. Этот жигит-преступник ему понравился. Лосовский понял также и чувства Абая и мягко заговорил, обращаясь к нему.

— Я вижу, Ибрагим Кунанбаевич, Жанатаев может не только подлогами заниматься, но и быть собственным адвокатом… Как вы думаете — его действительно толкнули на преступление те причины, о которых он говорил?

Абай был очень доволен, что Лосовский сам обратился к нему: вмешиваться во время официального разбора дела ему было бы неудобно. Теперь он с улыбкой посмотрел на Лосовского.

— Приговор у Жанатаева подложный, но объяснения его правдивы, в этом я уверен и даже берусь подтвердить, господин начальник…

— Но разве следовало ему идти на преступление, вместо того чтобы добиться правды прямым путем?

— Конечно, не следовало.

— Ну, а если он с таких молодых лет приучился нарушать закон, чем это кончится?

— Тогда его ждет печальное будущее. Если полученными им знаниями он будет пользоваться для преступлений, он будет еще опаснее, чем преступник-невежда…

— Совершенно верно, Ибрагим Кунанбаевич. Значит, нужно оградить народ от вреда, приносимого таким жигитом, то есть наказать его…

— Да, наказать нужно… И я думаю, он уже несет это наказание здесь, перед вами… Ведь наказывают не одной тюрьмой, наказание совести тяжелей всего. Я уверен, что он вполне сознает свою вину… Мне кажется, если заглянуть к нему в нутро, оно все горит от стыда…

Лосовский засмеялся и взглянул на Кокпая, который действительно стоял весь красный.

— Вы так уверенно говорите о его стыде и совести, будто сами готовы дать за него поручительство, — сказал он. — Так ли я понял вас, Ибрагим Кунанбаевич?

Кокпай вдруг обратился по-казахски к Абаю:

— Настоящие мужи редко клянутся, Абай-ага… Я всегда стремился быть настоящим мужем и слов на ветер не бросаю… Хоть я и плохо знаю русский язык, но все же понял ваш разговор. Да, я сгораю со стыда, заступитесь за меня! Клянусь, что до самой смерти моей я буду с вами всей моей правдой и привязанностью.

Абай пристально глядел в лицо Кокпаю. Горячая речь жигита его тронула. Когда тот замолчал, Абай быстро повернулся к Лосовскому.

— Господин начальник, — сказал он, — жигит дал мне клятвенное обещание. Вы сказали, что я готов дать поручительство. Я иду на это. Ручаюсь за его совесть. Простите Жанатаева. Я отвечу за него, если он обманет.

Лосовский заговорил твердо и значительно, серьезно глядя на Кокпая:

— Слушай, Жанатаев. Если ты не свернешь с правильного пути, из тебя может выйти хороший, полезный человек. Ты был на краю пропасти. Помни об этом. Старайся быть настоящим жигитом, поступай по советам и указаниям Ибрагима Кунанбаевича. Я отдаю тебя ему на поруки. За тебя поручился человек большой совести и чести. Если у тебя самого есть совесть, пусть этот твой проступок будет последним!

И Лосовский разорвал подложный приговор и дело по расследованию подлога Кокпая.

Выйдя из юрты, Кокпай поразил всех волостных, которые все еще не расходились.

— Абай меня из пламени вытащил — из когтей смерти вырвал! Бесценный мой Абай-ага, я до самой могилы не забуду этого!..

Абай до поздней ночи засиделся с Лосовским, беседуя с ним. Выйдя от него, он увидел дожидавшегося его Кокпая и вместе с ним направился в юрту Оспана. Волостные тоже разошлись, продолжая удивляться тому влиянию, которое Абай имел на ояза, и почету, каким он пользовался.

— Вырвать из тюрьмы человека, на которого власти зубы точили! Значит, для Абая нет ничего невозможного! — судачили они.

Всю ночь завистники «кроили шубу по тени», рассуждая о причинах такой дружбы Абая с оязом. Множество предположений и догадок кружилось над юртами Балкыбека.

На следующий день сбора страсть межродового соперничества охватила всех собравшихся на съезд аткаминеров, старейшин, биев, волостных управителей, старшин и даже посыльных и слуг.

— Кто будет главным бием сбора?

— Два уезда сошлись, оба ояза приехали… Кого-то выберут?

— Говорят, оязы поручили старейшинам наметить, самим.

— Жирный кусок получит племя, из которого будет главный бий! Для кого взойдет счастливая звезда—для Тобыкты, Сыбана, Керея или для Уака?

— Тобыкты — старший брат, не минет их эта честь! — рассуждали люди.

Абай и его товарищи, разместившиеся в юртах Оспана, встали поздно: они были не жалобщиками, не ходатаями, а просто любопытными зрителями, ожидающими, чем кончится сбор. Они выбрались только к полудню. К друзьям Абая присоединились теперь Байкокше и Кокпай.

Глядя на волостных, в волнении толпившихся у юрт начальства, Абай вспомнил, как они заглядывали вчера вечером в дверь юрты Лосовского. Острые слова насмешки, со вчерашнего дня вертевшиеся у него на языке, мгновенно ожили в его памяти, слагаясь в стихи. Он показал кнутом на толпу и громко начал:

Скачет посыльный — загнал коня,

Злится, орет, помрет как раз…

«Съезд будет, съезд! Приедет ояз!

Юрты готовьте — слушать меня!

Скот пригоните — таков приказ!»

Байкокше, Ербол и Кокпай первые залились смехом, и их поддержали остальные. Байкокше, хлестнув коня, поравнялся с Абаем:

— Дальше, дальше! Хорошо получается, скажи, что волостной говорит!..

Абай продолжал:

Я за народ стараться привык:

Мой без запинки мелет язык!

Если бог даст — тебя, мой народ.

Он и сегодня не подведет!

Прост мой народ, пойдет на посул,

Всех обнадежив, я всех обманул!

Дело состряпать долго ли мне

Вместе с оязом наедине?

После скажу: Я спину не гнул!»

И он засмеялся.

Кокпай не знал, что Абай сочиняет стихи. Он очень любил песни и легко складывал сам колкие шутки в стихах. С воодушевлением подхватив насмешку Абая, он продолжил ее своим звучным высоким голосом:

Тайны мои я прячу, как клад!

То, что я взял, не верну назад!

Тот, кто мне враг, трепещи меня —

Злоба моя страшнее огня!

Абай с удивлением повернулся к Кокпаю и воскликнул с улыбкой:

— Ого, Кокпай, я и не знал, что ты не только певец, но и акын! Это хорошо!

Кокпай, весело рассмеявшись, ответил:

— Я тоже только что узнал, что и вы акын, Абай-ага!

Спутники окружили Абая, с нетерпением требуя продолжения стихов, но тут они поравнялись с юртами начальства, и кто-то громко окликнул их. Всадники обернулись: неподалеку от них сидели на траве кружком несколько человек, посредине стоял Такежан, размахивая шапкой. Они повернули коней, подъехали и отдали салем. Такежан не садился.

— Абай, Асылбек, отдайте коней жигитам и останьтесь с нами, — сказал он. — У нас тут совет старейшин Тобыкты, и мы хотим знать ваше мнение по одному делу.

Абай молча спешился, друзья подхватили поводья его коня и отъехали в сторону. Абай сел в круг рядом с Асылбеком и поздоровался отдельно с каждым из сидящих. Здесь были одни тобыктинцы: волостные Молдабай, Дутбай, оба сына Кунанбая и его внук Шубар, аткаминеры — старейшины во главе с Байгулаком, самым старшим по возрасту, сметливый и ловкий Абралы, сверстник Абая, Жиренше от Котибака, Кунту от Бокенши, косой Уразбай от Есболата. Возле Молдабая сидели также несколько плотных рыжих жигитов из Мотыша, были здесь родичи и из Мамая и из Мирзы-Бедея.

Абай с удивлением заметил и двух аткаминеров Жигитека — Абдильду и Бейсемби. Приткнувшись к краю, хмурые и равнодушные, они будто и не прислушивались к разговорам остальных. Казалось, что предательский поступок иргизбаев, выдавших властям Базаралы, отшатнул жигитеков от всего Тобыкты.

Еще вчера Абай хотел расспросить Лосовского о судьбе Базаралы и просить его помочь, но отложил разговор, решив, что лучше прийти с ходатаями от рода Жигитек. Он предполагал взять с собой Бейсемби, которого считал сильным и настойчивым вожаком Жигитека, и Абдильду, изворотливого и ловкого. Но теперь они поразили его. «Что это они сидят с таким сонным видом среди своих заядлых врагов, которые отправили в ссылку их главную опору?» — с досадой подумал он и, с упреком взглянув на них, отвернулся.

— Добрый конь показывает себя не в начале скачки, а в конце ее, сородичи, — начал Байгулак. — Сейчас для нас неплохие времена, звезда Тобыкты взошла высоко, нынче мы и к луне руку протянуть можем… Но впереди еще большая честь: выбрать из Тобыкты главного бия Балкыбекского съезда. Остальные три племени уступили эту честь нам, как потомкам старшего брата из всех четырех наших предков: «По отцу и сын родится», — говорит пословица. Спасибо Такежану, Исхаку и Шубару, нашим волостным: это они вырвали высокую честь на совещании управителей. Теперь они собрали нас, тобыктинцев, чтобы посоветоваться. Завтра же новый главный бий начнет решать дела. Поэтому сейчас мы должны согласиться между собой и дружно назвать человека, имеющего почет в народе и достойного. Нужно добиться у обоих оязов его утверждения. Не будем же ронять имя нашего племени! Назовем одного из наших добрых людей, благословим его и скажем: «Аминь!..» Тебя, Абай, мы позвали к нам потому, что начальство тебя слушает. Ты пойдешь к оязу сообщить ему имя нашего избранника… Ну, сородичи, говорите, кого мы назовем?

Наступило долгое молчание. Абай знал, что каждый сидящий соблюдает свои выгоды и зорко следит за другими, осторожно выжидая. Ему стало смешно смотреть на них. Молчание затянулось. Тогда он заговорил сам — решительно и насмешливо:

— Ну что же, сородичи? Если вам досталась такая честь и вы и вправду рады ей, — чего ж вы мешкаете и молчите? Почему не называете ваших избранников? Или и звезда Тобыкты и наше нерушимое единство — только пустые слова? Неужели эти слова были у вас только на губах, а в горле застряли другие? Почему же вы не называете никого?

Он стоял, упершись рукой в бок. Голова его была откинута назад, брови сошлись, он медленно обводил взглядом собравшихся и говорил уверенно, спокойно и значительно. Все по-прежнему молчали. Они и сами признавали, что Абай на полет стрелы опередил их в красноречии, и в образовании, и в знании законов. Они завидовали ему, но тягаться с ним не решались: как только речь Абая приобретала насмешливый оттенок, все эти аткаминеры предпочитали притаиться и молчать, не решаясь открывать Абаю свои мысли. И сейчас они замкнулись, как бы обдумывая: «Где тут уловка? В чем тут хитрость? Куда он гнет, чего хочет?»

Абай решил воспользоваться их молчанием и попробовал сделать то, что внезапно пришло ему в голову.

— Ну ладно, сородичи, что было раньше — прошло, — начал он. — Жизнь требует, чтобы мы говорили правду. Должность главного бия — не только почет, но и испытание. Вы говорили о чести Тобыкты. Об этом думают все, кто собрался здесь. Но народ, стоящий за вами, думает не только об этом. Главный бий будет решать не ваши личные споры. К нему поступят крупные дела — о потерпевших от произвола, об оскорблениях, о пересмотре исков, разбиравшихся обычным путем. К нему потекут слезы слабых, угнетаемых сильными, жалобы вдов и сирот, просьбы вернуть то, что нажито трудом. Я не говорю уже о распрях между целыми племенами — между Сыбаном и Тобыкты, между Тобыкты и Кереем, Уаком и Тобыкты — мало разве их? И я хотел бы, чтобы вы поняли, какая великая ответственность лежит на главном бие съезда. Им может быть лишь тот, кто болеет за народ, кто говорит: «Мой закон—честность и справедливость.» Вы никого не назвали. Тогда назову я. Откровенность не преступление, скажу то, что думаю. Может быть, вы считаете достойным этой чести кого-нибудь из иргизбаев, а точнее — из детей Кунанбая, уже достигших вершин почета. Хотя я и сам принадлежу к Иргизбаю, я не назову ни одного из них. Я назову вам человека, который не заставит людей проклинать наш Тобыкты, а, наоборот, возвеличит его славу своей справедливостью и честностью. И перед начальством буду поддерживать только этого человека.

Все подняли головы и насторожились. Абай продолжал:

— Я называю Асылбека. И всем вам советую предложить его как главного бия. Он не волостной и не бий. Он и не добивался этих должностей. Но народ будет доволен и его справедливостью и его заботами о нем. Если хотите послушать меня — держитесь за Асылбека!

Абай замолчал. Все бокенши, сородичи Асылбека, — Жиренше, Уразбай, Абралы и сообразительный Кунту шумно поддержали Абая:

— Хорошо сказано! Пусть так и будет! Сказано правильно, говорить больше не о чем! Спасибо за справедливость, Абай, — одобряли они.

После этого решить вопрос было уже не трудно. Все, кто начал говорить, поддерживали Абая. Молчали одни иргизбаи: соглашаться с Абаем они не могли, а спорить— не решались.

Тут же Абаю было поручено сообщить Лосовскому, что главным бием Балкыбекского съезда намечен Асылбек.

Лосовский, как обычно, охотно согласился, услышав, что Абай положительно отзывается об избраннике, и Асылбек был утвержден.

Закончив это дело, Абай заговорил с Лосовским о Базаралы. Он начал так, как будто это была его собственная жалоба, его личное душевное горе. Но Лосовский с первых же слов Абая прервал его.

— Я ждал, что вы заговорите со мной о деле Кауменова… Еще в городе ко мне от вашего имени приходил Андреев и спрашивал о нем… К сожалению, я ничего уже не могу сделать: это дело ушло из нашего управления. Оно приобщено к делу беглого разбойника Оралбая. И так как тот совершал нападения и в Семипалатинской и в Семиреченской областях, то оно разбиралось в канцелярии степного генерал-губернатора в Омске. Решение состоялось давно, исполнение приговора задерживалось только из-за поимки преступника, считавшегося в бегах. Когда вы выезжали сюда, Кауменова уже отправили по этапу в Омск. Его судьба решена: пятнадцать лет каторги… Вот все, что я могу вам сообщить.

Абая глубоко поразила такая развязка дела Базаралы. Он даже не попрощался с Лосовским и вышел из юрты, потрясенный тяжелой вестью.

При мысли о Такежане, Исхаке и других родичах, выдавших Базаралы властям и состряпавших ложный приговор, душа его леденела. Выйдя из юрты, он не знал, куда идти. Перед его глазами так и стоял Базаралы, кипучий, пламенный, прямой… Кандалы сковывали его руки и ноги, он был в руках палачей, не понимающих его языка, не могущих оценить его прекрасной души… Слезы потекли из глаз Абая. Опустив голову, он спешил уйти от гудевшей кругом толпы. Ему казалось, что у него все тело избито…

Конский топот вывел его из тяжелого оцепенения: это догоняли его Жиренше и Кунту, посланные остальными узнать, чем кончились переговоры с начальством. Абай с усилием овладел собой.

— Асыл-ага утвержден, да будет это к счастью… Передай ему и всем остальным… — сказал он.

— Благодарны твоей справедливости, да будет светел твой путь! — ответил Жиренше и, прищурившись, весело рассмеялся. — Ты оказался «не сыном отца, а сыном народа», по твоим же словам!.. Большая слава о тебе по степи пойдет! Хоть ты не сам стал главным бием, но по своему выбору поставил бия на сборе четырех племен!.. А твои иргизбаи пускай обижаются… И как они не поймут, кем бы они были, если бы не ты? Кунту радуется за Асылбека, а я за тебя!

И он пожал Абаю руку. Но тот, хотя и улыбнулся в ответ, не мог все же избавиться от гнетущей тоски.

— Эх, Жиренше, что мне в этом… Иду от ояза, как стрелой пронзенный… Базаралы! Где сейчас мой Базаралы? Я-то надеялся помочь ему через Лосовского!.. А услышал страшную весть: Базаралы отправлен по этапу в Омск, оттуда пойдет на каторгу. На пятнадцать лет… Все мои надежды рухнули…

Жиренше побледнел и затих, новость потрясла и его.

Абай пошел дальше, в отчаянии думая о том, что помощи искать негде, если Лосовский сделать ничего не может… Не может — или не хочет? Абай только сейчас понял, как сухо и холодно заговорил Лосовский, едва прозвучало имя Базаралы, как поторопился сразу отказать в заступничестве… Он вдруг вспомнил слова Михайлова: «Попробуйте испытать его в более серьезных делах, тут-то его истинная сущность и покажет себя!» Как прав оказался его мудрый друг!.. А ведь Лосовский мог бы сделать многое — хотя бы опровергнуть ложный приговор волостных, подтвердить, что Базаралы не имеет никакого отношения к Оралбаю… Но, видно, то, что можно сделать для безобидного Кокпая, нельзя сделать для Базаралы: в нем Лосовский чует непримиримого врага властей и чиновников… И в этом прав Евгений Петрович!.. Как знает он жизнь и людей…

Радостные голоса вырвали Абая из его горького раздумья:

— Да это же Абай!.. Ну да, он сам, так и есть!..

— Свет мой Абай, дорогой, наконец-то нашли тебя! Абай оглянулся: к нему, задыхаясь, спешили его друзья — жатаки Даркембай и Дандибай. Отыскав Абая среди такой огромной толпы, старики не знали, как выразить свою радость.

Абай решил немедленно же взяться за их дело. Расспрашивая о делах в Ералы, он повел их с собой.

Даркембай был в новом чапане, хорошо сидевшем на его широких плечах, в новой шапке. Дандибай приехал в домотканом бешмете из верблюжьей шерсти и в старой мерлушковой шапке. Морщинистый, худой, с резко выступавшими над редкой бородкой скулами, он был старше Даркембая, спина его начала уже горбиться, он с трудом поспевал за спутниками, стараясь не отставать. У него болела поясница, и он шел, заложив за спину плеть. Рядом с Даркембаем он казался его старым конюхом.

Абай привел его к кучке иргизбаев, сидевших в стороне от толпы. В середине восседал румяный Майбасар, поглаживая бороду, вокруг него разместились Такежан, Исхак, Шубар, Акберды и другие аткаминеры. Они только что говорили об Абае, резко осуждая и его обращение к родичам при избрании главного бия, и выбор не кого-либо из иргизбаев, а какого-то бокенши Асылбека. Больше всех злился Майбасар.

Уверенный в том, что начальство стоит за родных Кунанбая, он лелеял в душе большие надежды. Никому не признаваясь, он страстно мечтал, что главным бием сбора выберут именно его. «Наша молодежь стала волостными, главного бия намечают из Тобыкты — кому же им быть, как не мне, старшему среди всех иргизбаев, брату Кунанбая?..» Он уже подсчитывал будущие доходы: «На этом съезде много запутанных крупных дел… к тому, кто будет решать их, все кинутся… Тут большим доходом пахнет! Если бог поможет, косяки и отары домой пригоню…» — мечтал он. И вдруг Такежан и Исхак собрали их тут и объявили: «Великое счастье само к нам привалило, а Абай отдал его в чужой род! Все он, все из-за него!»

Майбасар весь почернел от злости, у него даже нос заострился.

— Как он смеет гнать счастье, когда оно само приходит! — возмутился он. — Уж если он так уважает Асылбека, пусть сам одаряет его своими стадами! Сумасшедший! Отдать чужим должность, которую четыре племени уступили нам из уважения к нашему хаджи! Уж если отдавать, так не даром, надо и себе что-нибудь выговорить, а он, как дервиш какой-то, счастье оттолкнул, честь наших предков на ветер пустил!..

Остальные иргизбаи вполне разделяли негодование Майбасара.

— И чего это он так горячо твердил нам о помощи бедным, немощным, сиротам, несчастным? — со злой усмешкой обратился Такежан к Шубару. — Так говорят только на похоронах, собирая пожертвования неимущим! Кого же это мы хороним на Балкыбекском съезде? Верно Майекен сказал — дервиш какой-то!

Шубар ценил и уважал Абая, понимая, что тот занимает особое место среди всей его родни. Но за глаза, особенно в присутствии Такежана и Майбасара, Шубар и сам подсмеивался над дядей. Так и сейчас, подергивая по привычке кончиком своего длинного прямого носа, он насмешливо фыркнул и язвительно сказал:

— Какой же он дервиш, Такежан-ага? Он настоящий мулла-проповедник. Разве не прочел он нам длинного нравоучения совсем так, как каждый день читают нам имамы-наставники? Почему же нам не познать лишний раз пути божии и на Былкыбекском съезде?

И он презрительно рассмеялся, за ним и другие: все оценили едкость насмешки, зная, как недолюбливает сам Абай пустые и бесцельные проповеди духовенства. Но как раз в эту минуту они заметили Абая, подходившего к ним с двумя стариками, и при виде его, как всегда, притихли. Только Такежан не замолчал. Он узнал старика Дандибая и понял, в чем дело.

— Ну, получите еще, если вам мало! — зло сказал он. — Абай бросил начальство и опять тащит сюда своих бедняков!.. Боже милостивый!.. Совсем добродетельным стал наш Абай. Может быть, после убийства царя он за покаяние принялся? Как бы в Мекку не отправился! Вернется с чалмой на голове и с молитвой на устах настоящим наставником-эффенди, вот уж будет тогда поучать нас!..

Шубар и Майбасар, отвернувшись, засмеялись.

Абай и старики подошли к сидевшим. Оба жатака отдали салем и спросили о благополучии аулов. Иргизбаи поздоровались с ними недружелюбно, — все знали, что это жатаки, неустанно добивающиеся уплаты за потраву посева, и поняли, что Абай привел их сюда не зря.

Абай ни с кем не поздоровался, хотя некоторых из сидевших в кругу сегодня еще не видел. Заложив руки назад и держа в зубах папиросу, он молча стоял, обводя родичей холодным испытующим взглядом. Наконец он вынул изо рта папиросу и заговорил, будто вычитывая имена по списку:

— Такежан, Исхак и Шубар, вы, трое волостных, пойдемте со мной. Надо поговорить. — И, сделав рукой с дымившейся в ней папиросой знак старикам двигаться вперед, пошел за ними, не оборачиваясь.

Шубар вскочил первым, Такежан и Исхак, грузно покачнувшись, поднялись с мест.

Отойдя поодаль и усадив братьев и племянника на траве, Абай сразу приступил к делу:

— Эти старики, Даркембай и Дандибай, приехали сюда от сорока хозяйств жатаков. Я сам был у них в Коп-Жатаке, сказал, чтобы отправили на съезд этих двоих стариков, и обещал поддерживать их иск. Вот я привел их, а вы, трое волостных управителей, договоритесь с ними. Помните, что, если они вынесут дело на съезд, ответчиками будете вы.

И Абай твердо посмотрел на волостных. Такежан, который слушал, бросая на него злые взгляды, сразу перешел на брань:

— Э-э, как это мы ответчики? Разве набег на их аул делали Такежан или Исхак? Чего ты привел их и на меня сваливаешь? Пугать ими хочешь? Да и верно, они настоящие пугала!

У Абая вся кровь охлынула от лица. Он нахмурился и резко прикрикнул на брата:

— Не кичись, Такежан, ходи, да оглядывайся! Правда, у стариков вид неприглядный, зато им зло не сродни! А тебе, видно, не сродни должность волостного!..

— Так что ж, по-твоему, я их бедняками сделал?

— Да, ты!

— Нашел в чем обвинять!

— Да, ты! Если не сам, то твой дед Оскенбай, его сыновья Кунанбай и Майбасар! Эти старики в их дом дровами вошли, а золой вышли, вы всю силу у них отняли, а потом выкинули! В чем они виноваты? Это же родичи, которые горе мыкают!

Абай сдвинул брови, весь кипя негодованием. Слова об отточенном топоре невольно вспомнились ему, — видно, только с ним в руках и можно беднякам добиться правды… Он вспылил и почти закричал на Такежана:

— Не виляй, говори прямо! Здесь же на съезде отдайте им все, что полагается! Если не хотите позора перед всеми четырьмя племенами, кончайте дело здесь! А нет — я сам, встав с этого места, начну!.. Ну, быстрее! Отвечайте!

Такежан невольно призадумался. Угроза Абая означала: «Отсюда пойду прямо к оязу», и это его испугало. Он притих. Молчал и Исхак, не смея поднять на Абая глаза. Увидев Даркембая, он сразу вспомнил о семи конях, которых не дал вернуть старикам, и неприятная мысль, что Абай сейчас заговорит об этом, не выходила из его головы. К Абаю он относился, как к высокому начальству — то ли из уважения, то ли из страха перед ним. Он взглянул на Шубара — тому было легче других разговаривать с Абаем, он умел заставлять дядю выслушивать свои доводы.

Шубар миролюбиво обратился к Даркембаю:

— Ну, сородичи, в чем ваш иск, чего вы требуете? Начало разговору положено, продолжайте теперь сами!

Слова у Даркембая цепочкой вязались, он начал уверенно и смело:

— Мы, светики мои, тяжеб и споров не любим, да и сил у нас на то не хватит. Лишнего не собираемся клянчить через Абая. Мы приехали просить от всего народа о нашем же добре, нажитом трудом. У нас два дела. Во-первых, прошлой осенью табуны Такежана, Майбасара, да и твои, дорогой мой Шубар, потравили у нас пять земель посева, уже совсем созревшего… Четыре дня топтали, ни зернышка мы не собрали. А нынче снова пять полей вытоптали по раннему всходу так, что одна черная земля осталась, снова зерно прахом пошло. Завыть нас заставили, родичи мои!.. Это первое дело. Во-вторых, в твоей Кзыл-Молинской волости, Исхак, есть аул прожженных воров Ахимбет. Они у нас свели семь коней, мы уличили воров, но тут пошли письма, какие-то тайные дела, уж не буду вспоминать… Так или иначе, не только наших семи коней — семи козлят мы не получили, вернулись со слезами. Вот все, волостные мои. Кому нам жаловаться, как не Абаю, и где жаловаться, как не на таком сборе?

Слушая старика, Такежан так и кипел, но, помня крепкий отпор Абая, не посмел накинуться на жатака и только злобно косился на него. Все молчали. Шубар быстро сообразил, что, если дело дойдет до начальства или биев, им, троим волостным, чести не прибавится и остановить Абая будет невозможно. Он заговорил со стариками, как давнишний друг, добродушно посмеиваясь:

— Ну, видно, вас, стариков, нынче ничем не возьмешь! Не совру, если скажу, что на всем съезде нет никого, кто решился бы так напирать на сыновей Кунанбая! Хотел бы я за вас заступиться, — вы же из моей волости! — да вы и без меня сильны… У вас крепкий защитник — Абай-ага: с одного бока у него главный бий, с другого — сам ояз. До любого из них ваши слова доберутся скорей наших, и такой гром грянет, что не скоро очнешься! Повезло вам, старики!.. Ну что ж, спорить нам не о чем, давайте договариваться, на чем помиримся. О вашем требовании я слышал еще в прошлом году. В конце концов не нужно и бога забывать…

И Шубар взглянул на Исхака и Такежана.

— Что же, братья, не будем присваивать себе их трудов… Пусть Абай-ага выскажет решение по этому делу — и конец разговору! — заключил он.

Абай оценил и сообразительность Шубара, сумевшего так повернуть дело, и ловкость его языка. «Этот куда толковее Такежана и Исхака, — подумал он. — Моложе, а умнее их. Далеко пойдет… Только— куда?..»

Дандибай не вмешивался в беседу, но отлично понял, что Шубар хотел и уговорить Такежана, и удовлетворить жалобщиков, и успокоить Абая, и сохранить честь сыновей Кунанбая. Он одобрительно кивал головой и наконец сказал откашлявшись:

— Ну, коли разговор к концу идет, и скот к хозяину придет! Мы довольны твоим решением. Хоть ты и молод, пусть будет так, как ты сказал!

— Пусть Абай-ага выносит решение, мы согласны, — присоединился Исхак.

Такежан не мог уже спорить и отвиливать, когда двое остальных сдались: это было и невыгодно и опасно. «Абай слишком близок к начальству, каждую минуту может замахнуться, не надо восстанавливать его против себя», — думал он и молча ждал решения брата.

Абай вынес решение тут же. За две потравы жатаки должны были получить по два коня-пятилетка с земли— всего двадцать голов. За семь украденных коней, учитывал приплод, им следовало получить десять, «полноценных»[50] голов.

Старики не ожидали этого. От радости они онемели и только молились в душе, чтобы Абаю удалось довести дело до конца. Волостных такое решение, конечно, обрадовать не могло, но, возмущаясь внутренне, они хранили молчание: оспаривать приговор, который они сами поручили вынести, было бы нарушением обычая, и Абай не допустил бы этого.

Сам Абай отлично видел, что решение его кажется братьям тяжелым, но и виду не подал, что заметил это. Он снова заговорил с прежней твердостью:

— Решение я вынес, это одно. Теперь нужно, чтобы скот действительно попал в руки этих несчастных. Я ведь вижу, что сейчас вы только прикидываетесь, будто согласны с моим решением, а кончится съезд, вы хвост на спину загнете и начнете увиливать. Так вот, чтоб этого не случилось — сдайте старикам присужденные мной тридцать голов тут же, в течение трех дней. Все вы волостные, у вас полно шабарманов, отправьте их сейчас же, при мне, куда следует, за конями. На сдачу я приду сам — через три дня — и только тогда скажу, что дело кончено. Все вам понятно?

— Поняли, поняли… — через силу сказали волостные, будто Абай вытянул эти слова у них изо рта. Абай встал закурил папиросу и ушел вместе со стариками…

Через три дня кони-пятилетки были пригнаны. Даркембай и Дандибай приняли все тридцать голов в присутствии Абая. Старики были вне себя от радости.

— Это больше всякого возмещения за потраву и угон! Даже больше калыма! Целый кун, что за убийство платят!

— Разве жатаки получали когда-нибудь столько? И мечтать о таком возмещении не смели!.. Родной наш Абай, будь он счастлив!

Но тут же у них родилось сомнение. Первым заговорил осторожный и осмотрительный Дандибай. Часто моргая своими маленькими глазками и посмеиваясь, он обратился к Абаю:

— Коней-то ты отдать заставил, Абаижан, а вот как бы они обратно к волостным не убежали?.. У меня на душе новая тревога… Моя напуганная голова думает — не догнать нам коней до места… Путь длинный, степь безлюдная, два старика такое богатство гонят — долго ли его отнять, а потом свалить все на воров?

Даркембай был сильнее и смелее друга и готов был рисковать.

— Э, брось, Дандибай! Чего робеть? Кругом люди живут, найдем попутчиков и погоним скот!

Но Абай и сам думал, как бы вернее доставить табун к жатакам и обрадовать бедный люд. Он подозвал Баймагамбета:

— Поедешь с этими стариками. Отгоните коней до нашего аула в Байкошкаре, отдохните там денька два. Передай мой салем Айгерим: пусть получше примет и угостит этих аксакалов. И пусть даст тебе револьвер — он в сундуке. Потом подбери себе хорошего коня и помоги им доставить табун в целости в Ералы… Ну, старики, передайте поклон вашему народу! Отправляйтесь с богом! — напутствовал он своих седых друзей.

Дандибай как будто чуял, что замышляет Такежан: как раз в это время тот вызвал к себе двоих известных всему Ералы конокрадов — Серикбая и Турсуна. Высокие, мускулистые, крепкие, как бревна, оба они были под стать друг другу—неукротимые и дерзкие, отчаянные воры. Такежан не только покрывал их дела, но порой и сам подсказывал им, кого ограбить. Он же выделил им землю для зимовки неподалеку от Ералы. Оба были у него в руках, как на длинном аркане.

Когда Даркембай и Дандибай двинулись со своим большим табуном, он указал на них Турсуну и, поощрительно ругнувшись, приказал:

— Нужно отомстить проклятым жатакам. Смотрите, собаки, обделаете дело не чисто — отступлюсь от вас. На первой краже попадетесь!

Турсун был готов действовать хоть сейчас же.

— Только развяжи мне руки — в гроб вгоню отца этих жатаков!..

Серикбай, наоборот, предложил не торопиться: один раз эти же старики чуть его не поймали. Расчетливый и хитрый, он успокоил Такежана: зимой, в буран, все будет сделано — скот исчезнет, будто его вьюгой в небо унесло. Такежан одобрил его предложение.

Теперь, когда жалоба жатаков была удовлетворена, Абай мог уехать, других дел у него на съезде не было. Но он решил остаться на несколько дней, чтобы послушать тяжебные споры. В эти дни начался разбор одной из самых больших и запутанных тяжеб. Это дело называлось «тяжбой девицы Салихи» и тянулось между племенами Керей и Сыбан с прошлого года, все обрастая взаимными обидами, Салиха, девушка из племени Керей, была засватана в племя Сыбан. В прошлом году жених ее умер. Калым за нее был уже полностью выплачен, приданое и новая юрта невесты тоже были готовы, и племя Сыбан решило взять ее за старшего брата умершего жениха — шестидесятилетнего старика, имевшего двух жен. Но Салиха оказалась упорной и мужественной: она написала письмо и устно, через своих близких, обратилась к старейшинам Керея: «Не роняйте своей чести, сородичи. Я до сих пор покорно выполняла вашу волю. Не губите мою юность, ведь я же твоя дочь, племя мое, благословенный Керей! Не отдавайте меня третьей женой человеку, который старше моего отца!»

Мольба девушки быстро облетела народ. Вся молодежь Керея вмешалась в дело. «Нельзя допустить такого унижения нашей девушки», — говорили они. Старый акын сложил печальную песню «Жалоба девушки Салихи сородичам», эту песню стали распевать все: чабан у овечьей отары, табунщик на коне, молодежь на свадьбах и вечеринках. Юноша одного из родов Керея полюбил несчастную девушку, стал ее избранником и другом сердца. Общее сочувствие к ней повлияло и на старейшин: решили девушку в обиду не давать, калым племени Сыбан вернуть, сватовство и сговор расторгнуть.

Когда весть об этом пришла в Сыбан, начались толки. «Керей силу свою показывают, унижают наше достоинство, смеются над предками! Это оскорбление всего Сыбана! В землю нашу честь втоптать хотят!»—раздували обиду злые языки. Переговоры не привели ни к чему, началась межродовая вражда.

Едва успел сойти снег и показалась зеленая трава, между Сыбаном и Кереем началась барымта: то те, то другие угоняли друг у друга скот, дело не раз доходило до настоящих схваток, до пятидесяти жигитов обеих сторон лежали тяжело раненными и избитыми. И сейчас, в дни съезда, ни Сыбан, ни Керей не знали покоя: табуны ежедневно подвергались нападениям, барымтачи не давали дохнуть, налетая с пиками и уводя косяки отборных коней. Дело шло к новому большому побоищу.

Из всех тяжеб, представленных на разбор каркаралинскому и семипалатинскому уездным начальникам, эта была самой крупной и срочной, потому что дело разрасталось и осложнялось с каждым днем. Число причастных к нему людей было огромным. Каждая из сторон подала своему начальнику жалобу, посыпались доносы, давалась ложная присяга.

Тобыктинцы и из этой вражды извлекли выгоды, именно поэтому они так легко получили право на выдвижение главного бия съезда, при иных обстоятельствах Сыбан и Керей крепко потягались бы за эту должность. Как бы ни хвастались Такежан, Майбасар и их приспешники: «Мы получили ее, как старшие, это знак уважения к хаджи Кунанбаю!»—все это было пустым бахвальством. Иргизбаи кичились, как всегда, на самом же деле невозможно было поручать решение такого дела ставленнику одного из враждующих племен.

Однако и Асылбек тоже оказался неподходящим. Керей не доверяли решения этой тяжбы главному бию: «Он близок племени Сыбан, больше того — жена у него из того самого аула, который угоняет наших коней», — заявили они. Асылбек и сам отказался решать это дело, не желая навлекать на себя недовольство. Это вызвало негодование его ближайших родичей. «Ты должен был взять это дело, — упрекали его Кунту, Дутбай и другие, — крупный доход сам тебе в руки шел, а ты заупрямился!»

На имя обоих уездных начальников поступали прошения, чтобы они сами вынесли решение по этому делу, но те, конечно, отказались. И как раз в эти самые дни по Балкыбеку пошли слухи о необыкновенной справедливости и честности Абая. Два его поступка особенно поражали всех.

— Уж как цеплялись сыновья Кунанбая за должность главного бия, а Абая так и не склонили! — толковали повсюду. — У своих должность отнял, отдал Асылбеку, а ведь тот ему совсем дальний родич! Сказал, что Асылбек справедлив, народу, мол, пользу принесет!..

О втором необыкновенном поступке Абая заговорили в последние дни.

— Сам в ходатаи за жатаков пошел! Заставил своих же братьев, всесильных волостных, тридцать голов скота беднякам отдать! Кто бы ни шел к нему с жалобой и спором — он справедлив ко всем. И родство ему руки не путает, наоборот— на родных главную тяжесть накладывает!.. Он о нуждах всего народа думает, заботится о нем…

Так говорил простой люд. Бии же и волостные Сыбана и Керея хорошо понимали другое.

— Абая все семипалатинское начальство знает. В степь приедут, сразу его зовут, советов его слушаются, — рассуждали они. — Кто теперь сильнее его? Кунанбай уже не Кунанбай, — если раньше его имя гремело, теперь он просто живой дух предка. А его сыновья, хоть и выскочили в волостные, ничем не выделяются. Что такое Такежан или Исхак? Обыкновенные жигиты в красивых шубах, живут только славой отца… Если есть сейчас в Тобыкты сильный человек — так это Абай. Хоть должности никакой не имеет, а умнее и мужественнее всех этих волостных!

Последние дни в юртах Керея и Сыбана только и толковали об этом. Жумакан пошел к Лосовскому, Тойсары — к своему оязу, каркаралинскому уездному начальнику.

Абай проводил эти дни на разборах, присматриваясь к биям. Слушая их споры и словесные состязания, он со скрытой насмешкой приходил к заключению, что Жиренше и Уразбай оказались, пожалуй, самыми красноречивыми. В один из таких дней Абая вызвали в юрту ояза.

У Лосовского сидели каркаралинский уездный начальник и главный бий Асылбек. Разговор был непродолжительным. Асылбек передал Абаю просьбу и пожелание Керея и Сыбана: они предлагали ему быть бием-посредником между ними в тяжбе Салихи и прекратить их тяжелую ссору. Убедившись сперва, что это не внушено начальством, а действительно исходит от самих спорщиков, Абай дал согласие.

Начальники, довольные выбором бия, тут же утвердили Абая. Каркаралинский уездный начальник Синицын передал ему два прошения, поступившие от самой девушки. Абай прочел их — они были написаны арабскими буквами — и ни словом не обмолвился о своем впечатлении, не сказав также никому об их содержании.

В тот же день он вызвал к себе по три представителя каждой из тяжущихся сторон. От Сыбана пришел волостной Жумакан, один из старейшин — Барак-Тюре и Танирберды. От Керея — тоже волостной Тойсары и двое аткаминеров. Абай вышел к ним вместе с Жиренше и Уразбаем.

— Итак, сородичи, — обратился он к ним, — насколько я понял, спор перешел в тяжелую вражду. Вы скот угоняете друг у друга, дошли до набегов и схваток. Сначала речь шла только о калыме за невесту, теперь сумма тяжбы превышает калым за нескольких невест, она стала больше куна за убийство. Поэтому человек, которому надо вынести решение по вашему делу, должен многое проверить и знать все подробности. Одному на это не хватит ни времени, ни сил. Где-то я прочел слова: «Один ум — хорошо, а два — еще лучше». Если вы согласитесь, я возьму себе биев-помощников. Они перед вами: Жиренше и Уразбай, оба из Тобыкты, которому вы доверили разбирательство…

И Жумакан и Тойсары, даже не совещаясь со своими товарищами, тотчас ответили за всех:

— Пусть будет так, как ты сказал!

— Твоя воля — кого брать в помощники… Барак-Тюре, высокий и цветущий, добавил, поглаживая свою черную с проседью бороду:

— Мы, сыбанцы, выбрали именно тебя, полагаясь на твою справедливость. Бери хоть двоих, хоть пятерых, нам они не нужны, — последнего решающего слова мы ждем только от тебя самого. Как говорит поговорка: «Биев много, а приговор один: всем спорам Майкы-бий[51] господин…»

Жумакан в знак согласия молча кивнул головой. Тойсары сказал почти то же, но несколько иначе:

— Не нам учить тебя, самому ли тебе лететь, или на чужих крыльях. Дело мы передали тебе, от тебя и ждем решения.

Абай молча поклонился представителям обеих сторон и на этом закончил первый разговор. Третейский судья прежде всего должен быть немногословен и сдержан. Слово— предатель мысли. У обеих сторон немало кляузников, старающихся угадать ход разбирательства и вовремя использовать это. Чтобы слова его не были истолкованы как приязнь к одной из сторон в ущерб другой, Абай ничего не ответил.

Когда он остался наедине со своими помощниками, Жиренше со свойственной ему наблюдательностью отметил:

— Утверждать, конечно, пока еще рано, но похоже, что кереи поручают тебе дело с открытой душой, а у Барака что-то на уме!..

Но и на это Абай ничего не ответил, хотя сам думал так же. Он поручил им провести расследование на месте: Жиренше должен был ехать в Керей, Уразбай — в Сыбан.

— Много и добра расхищенно и жигитов побито при каждой барымте и набеге. И расспрашивать и узнавать вам придется много. Но видимость и истина — вещи разные. Враждующие смешивают правду с ложью, преувеличивают, недоговаривают. Будьте сдержанны, не открывайте своего мнения, не говорите: «Это хорошо, это плохо, тут правда, а там ложь». Храните свои мысли при себе. А в особенности не высказывайте благосклонности и не давайте никаких обещаний, это свяжет вас. А если вы будете связаны, и на меня ляжет обязательство. И еще прошу вас: не входите ни в какие сделки, не продавайтесь! Это — мое основное требование к вам обоим. Сородичи избрали меня, надеясь на мою честность, так будьте же мне друзьями, будьте крыльями моими—такими крыльями, которые знают только пути справедливости и правды!

Так началось следствие по делу девушки Салихи. Оно затянулось на целую неделю. Расследование шло в трех местах одновременно — и в Сыбане, и в Керее, и здесь, на съезде, где собралось много и жалобщиков и свидетелей обеих сторон.

Сам Абай допрашивал только «хозяев слова» — главного истца и главного ответчика: старика жениха Сабатара из Сыбана и отца невесты — Калдыбая из Керея. Он точно выяснил убытки, понесенные сторонами от расторжении свадебного сговора: калым, подарки, приданое.

Умерший жених Салихи был любимым сыном богача Байгебека, и калым за невесту был уплачен большой, один из самых крупных в округе. Когда жених умер и Салихе предстояло выйти замуж за старика, Калдыбай, заявил, что его дочери приходится теперь идти за неровню и терпеть унижение, взял с самого Сабатара еще половину калыма. Абай подробно расспросил об этом и с точностью выяснил размер дополнительного калыма.

Но, со своей стороны, и Калдыбай понес значительные расходы. Желая отпустить дочь к мужу соответственно ее достоинству, он увеличил заготовленное приданое. Кроме новой восьмистворчатой юрты с убранством, все, что давалось девушке, имело счет двадцать пять. Приданое начиналось с купленного у кокандского каравана за сто овец шелкового ковра. Далее шли — двадцать пять меховых шуб, двадцать пять вышитых кошм, двадцать пять сундуков. Платье, белье, скатерти, посуда, подушки, одеяла — всего было по двадцать пять штук. Даже убранство высокой кровати с костяной резьбой, сделанное из шелковых тканей, соответствовало той же цифре.

Но все это добро находилось еще в Керее, калым же был получен полностью, — а невеста отказалась.

Сыбанцам больше всего было жаль огромного количества скота, отданного в счет калыма, и поэтому-то сразу же после разрыва сватовства они начали угонять у кереев коней. В свою очередь и те прибегли к барымте, чтобы пополнить косяки, которые они считали уже своими. Каждая сторона старалась захватить не меньше угнанного. Набег сменялся набегом. Силачи-жигиты, ловкие в набегах, воры, барымтачи не знали покоя. Всякий, кто был способен поднять соил, ввязывался в борьбу. Вокруг неудачного сватовства затянулся крепкий узел вражды.

Абай поочередно вызвал всех причастных с свадебному сговору людей как из Керея, так и из Сыбана, беседовал с ними, входя во все подробности. Наконец он захотел знать, что говорит сама девушка, из-за которой вспыхнула вся тяжба.

Салиха, приехавшая в Балкыбек, чтобы собственноручно вручить жалобу начальнику Каркаралинского уезда, осталась на съезде. Абай послал за ней Ербола и Кокпая и вызвал ее вместе с ближайшими родственниками в юрту Оспана, где жил сам.

К нему вошла высокая смуглая девушка в собольей шапочке, в шелковом чапане. Большие серебряные серьги дрожали в ее ушах. Шла она медленно, но смело. Девушку сопровождали ее отец Калдыбай и несколько кереев. Юрта ломилась от толпы, — всем хотелось взглянуть на знаменитую девушку Салиху. Но после того как Оспан угостил всех кумысом, Абай дал знак тобыктинцам, и те стали расходиться. Поняв, что и они здесь лишние, Калдыбай тотчас поднялся и увел всех кереев.

Абай остался с Салихой наедине и только теперь внимательно вгляделся в ее лицо, смуглое, безупречно чистое. Широко поставленные вдумчивые глаза девушки горели каким-то особенным черным пламенем. Длинные густые ресницы подчеркивали их бездонную тлубину. Прямая линия носа нарушалась едва заметной горбинкой. Уголки ее тонких губ были слегка опущены, в едва наметившихся складках таилось большое, глубокое горе.

Абай уже выработал в себе привычку говорить мало и слушать других. Сейчас он остался верен себе. Некоторое время он молча смотрел в лицо девушке и лишь потом начал задавать вопросы.

— Салиха, милая, видимся мы впервые, а я уже знаю о вас так же много, как любой ваш родственник, — начал он.

Щеки Салихи слегка порозовели, потом вспыхнули. Она улыбнулась — и сразу же ее лицо, казавшееся таким печальным, когда она молчала, стало другим: белые зубы засверкали, вся она точно сияла, ясная и прямодушная. В ней чувствовалась страстная душа, веселая и жизнелюбивая.

— Ваше прошение я прочитал, — продолжал Абай. — Подтверждаете ли вы все, что там написано? Ответьте сперва на это.

Салиха нахмурилась и насторожилась, в темных глазах мелькнула досада.

— Абай-мирза, — с каким-то недоумением сказала она, — я писала не для того, чтобы отказываться от своих слов. Я ничего не передумала.

Она снова улыбнулась, и кровь опять прилила к ее лицу.

— Я хочу спросить вот о чем: когда вы пишете «не пойду замуж», вы говорите только о старом Сабатаре? Иль все сыбанцы вам не по душе? А если бы в Сыбане нашелся достойный вас жигит, что ответили бы вы тогда?

— Если бы они сразу заговорили не о старике, а о моей ровне — молодом жигите, разве я посмела бы сопротивляться? Разве мой аул и мой род допустил бы это?

— А вы передали сородичам вашего жениха, чтобы они назвали вам кого-либо из достойных вас жигитов?

— Да, передавала. Но они ответили: «Калым за нее уже уплачен, Сабатар имеет на нее права, установленные богом, пусть не выдумывает глупостей!»

Абай помолчал и, понизив голос, заговорил более мягко и душевно:

— Скажи мне еще об одном, милая девушка. Это уже не тайна, об этом все знают… Родня твоего жениха говорит: «Она сама и не отказалась бы, если бы ее не подговорил один из жигитов-кереев. Девушка стала упрямиться, только сойдясь с ним. Керей вдвойне повинны перед нашими предками: и калым забрали и девичью честь нарушили». Так говорят они. А что скажешь ты? Когда ты сошлась с этим жигитом — до того, как отказала Сабатару, или после?

Девушка и на этот вопрос ответила тотчас же, хотя стыд волной прошел по ее лицу — оно сперва сильно побледнело, а потом мгновенно вспыхнуло. Подвески серег сильно задрожали.

— Пусть это будет моей правдой, как вера моя, Абай-мирза… Когда сыбанцы ответили, что никого, кроме старика, мне не назовут в женихи, я решила уйти с кем угодно, лишь бы спасти свою голову… Тогда-то и появился этот жигит… А раньше — никто из кереев, никто из живущих на белом свете ко мне и подойти не смел! Когда был жив нареченный жених, я считала Сыбан желанным домом! — горячо сказала она и, приложив к глазам вышитый платок, заплакала. Потом, подняв на Абая покрасневшие от слез горькой обиды глаза, она стала ждать новых вопросов.

— Я все спросил, — сказал Абай, не спуская с нее взгляда.

Лицо ее опять изменилось. Казалось, она была удивлена, что разговор закончился так быстро, — не так бывало с ее сородичами. В вопросах Абая она почувствовала жалость к себе, и это придало ей решимости. Печально и почти гневно сдвинув брови, она заговорила:

— Никто меня не подговаривал. Горькая, ядовитая мысль явилась сама. Я стала думать: «Неужели мне стать третьей женой костлявого старика Сабатара?..» Думы были так мучительны, что я перестала чувствовать себя живой, повисла где-то между жизнью и смертью… Хотите знать правду души моей? Каждый день я гляжу в темные воды Балкыбека, как у себя в ауле глядела в воды Баканаса… Гляжу и думаю, что на дне их найдется место для моего тела… Пусть лучше речные волны ласкают его, чем старый Сабатар… Вот моя правда…

Вдруг побледнев, Абай в сильном волнении поднял голову. Салиха встала и направилась к двери, а он сидел как застывший, погруженный в свои мысли, лишь молча кивнув ей головой. Глазам его ясно представилось, как эта статная и высокая девушка тонет в реке. Тихие темные воды расступились с жалобным всплеском, и юное тело опускается на дно… Тонкие брови, сведенные в последний миг, так и застыли… Маленькие руки сами протягиваются к смерти… Мысли и видения теснились в душе Абая, и размеренные слова сами сложились в строки:

… — Пусть тело мое целует не старый муж, а волна!—

Сказала — и в темные воды со скал метнулась она…

Ербол, Кокпай и Шаке удивились, что девушка вышла так скоро. Войдя в юрту, Ербол с упреком обратился к Абаю:

— Что же ты так быстро ее отпустил? Точно она в канцелярию начальника заходила…

— Хоть бы пообедать оставили! — присоединился Шаке.

— Не нужно. Пусть идет, — ответил Абай и, придвинув бумагу, начал записывать строки, звучавшие в нем. Он не хотел объяснять друзьям, почему он не задержал девушку. Если бы он долго разговаривал с ней, сыбанцы, цепляющиеся за любой повод, сочли бы это склонностью к кереям. Могли бы и утверждать, что Абай учил ее, как отвечать на вопросы начальства.

Следствие продолжалось еще три дня. Жиренше и Уразбай, взяв с собой каждый по пяти человек, поехали в кочевья Сыбана и Керея, расположенные недалеко от Балкыбека. Они вернулись с подробными сведениями.

Настал день вынесения бийского приговора. Убытки, потери и взаимные претензии сторон были выяснены, запутанный узел этой сложной тяжбы находился в руках Абая, но и до сих пор никто не знал, к какому решению он пришел.

Абай велел собраться к юртам начальства всем кереям и сыбанам, имеющим отношение к тяжбе. Старшины и шабарманы поскакали по всему Балкыбеку с громкими криками:

— Тяжба девушки Салихи! Спор Керея с Сыбаном! Сегодня разбор дела! Сегодня будет решение!

К невысокому холмику начал собираться народ. Пришли и начальники в кителях с блестящими пуговицами, сопровождаемые своими толмачами, стражниками и урядниками, и стали отдельной кучкой. Сборище имело торжественный вид.

Когда Абай пошел к холмику, Жиренше и Уразбай задержали его и отвели в сторону. Заговорил Жиренше.

— Абай, в твоих руках оба конца вожжей. Наступил час испытания и для наших родов и для тебя. А ты даже нам с Уразбаем не сказал, какое вынесешь решение, таишь в себе. Мы просим — поделись с нами. Кто у тебя виновный, кто победитель?

Абай, слегка прищурившись, посмотрел на друзей и засмеялся.

— А кто по-вашему? — сказал он, будто испытывая их. — Скажите сами, которую же из сторон поддержать?

Оба молчали. Он добавил, посмеиваясь:

— Что у тебя в горле застряло, Жиренше? Говори, о чем хотел!

Жиренше, не сводя глаз с Абая и стараясь говорить как можно спокойнее и тверже, начал многозначительной поговоркой:

— При виде золота и ангел с пути собьется… Обычай предков — закон для потомков. Сыбан понял это. Барак-Тюре и другие старейшины передают тебе через нас с Уразбаем салем: «Пусть присудит дочь Керея Сабатару, обещаем сорок лучших коней, отберем из всех табунов Сыбана…» Вот это мы и хотели сказать тебе…

Абай почувствовал к Жиренше такое отвращение, будто у того вместо слов изо рта текли нечистоты. Он резко махнул рукой, точно говоря: «Довольно, хватит!»—но тут же овладел собой и рассмеялся. Эта быстрая перемена не ускользнула от Жиренше, привыкшего улавливать малейшие оттенки настроения людей. Надежда, покинувшая было его, вспыхнула в нем опять.

Абай, глядя на своих помощников, продолжал смеяться.

— Ну, Уразбай, а ты? Тоже так советуешь? Тоже говоришь: «Нужно взять, принесем Керей в жертву Сыбану?»

Уразбай отлично знал, как смотрит на такие дела Абай, о все же решился настаивать.

— Да, я тоже советую так, я согласен с Жиренше, — добавил он. — О чем тут говорить? Нет начальника, который не берет, нет бия, который не кормился бы делом. Не с нас началось, не нами и кончится. Я не в Мекку на поломничество приехал, а на Балкыбекском съезде!

— Ну что ж, значит так? — спросил Абай, все еще не выдавая себя ни лицом, ни голосом.

Жиренше и Уразбай уже совсем осмелели:

— Да, вот так мы и решили!

— Сделай, как просит Сыбан!

Абай не мог дальше сохранять хладнокровие, что-то сдавило ему горло, и он резко крикнул:

— Хватит! Набрехались, псы!.. — и добавил крепкое слово.

Оба они были старше его по возрасту, и раньше он никогда не позволял себе выбранить их, разве только в шутку. Сорвав первый гнев, он продолжал, весь кипя возмущением:

— И вас я взял в помощь себе, вас просил быть моими крыльями!.. Неужели вся ваша работа только и приучила вас обжираться дерьмом? Если б я и мечтал об этом, не проще ли было мне выбрать Такежана? Пусть вам совесть позволяет подменить справедливость подлостью, пусть для вас и Керей и Сыбан безразличны, — для меня они оба — мой народ! А вы захотели меня жертвой своего брюха сделать? Перед этим съездом, перед всем казахским народом опозорить? Лучше бы вы просто убили меня! До чего додумались!.. Люди доверились чести вашего рода, духу ваших предков, — а вы двое из-под савана этих предков руку за взяткой тянете? Прочь от меня! Он быстро пошел от них.

Навстречу ему уже бежали задыхаясь Такежан и Исхак.

— Начальники, начальники пришли, тебя ждут, Абай, где ты? — наперебой кричали они.

Абай неторопливо прошел через толпу и поднялся на зеленый холмик. Он приветствовал обоих оязов и отдал салем биям-спорщикам сторон — Барак-Тюре и Тойсары.

Барак сидел с уверенным и спокойным видом. Свой ловкий ход он обдумал давно, еще тогда, когда Абай заявил, что хочет взять к себе в помощники и Жиренше и Уразбая. Поэтому он и сказал тогда Абаю: «Бери кого хочешь, но решение выноси только сам». При этом у него был свой расчет: «Пусть теперь керей сунутся со взяткой Абаю, он их сразу возненавидит. А я с ним и говорит не буду, подкуплю этих двоих, а уж они сумеют повести следствие так, чтобы подсказать Абаю решение…» Так думал хитрый аткаминер, отлично зная повадки Жиренше: при разборе одного дела тот охотно принял от него взятку. И теперь, убежденный, что Жиренше и Уразбай сумели все сделать, он насмешливо поглядывал на Тойсары.

Абай открыл суд, дав высказаться биям-спорщикам. И Барак-Тюре и Тойсары повторили уже известные всем противоречивые жалобы. Обе стороны закончили свои речи словами: «Поручаем наше дело богу, а после него — тебе. Решай справедливо. Духу ваших предков даем последнее слово».

И только тогда заговорил Абай.

Он был очень возбужден и взволнован. Бледный, нахмуренный, он сидел, поджав под себя ноги и упираясь в бедро рукой с зажатой в ней шапкой. На его широком открытом лбу и на крупном прямом носу блестели мелкие капельки пота. Но голос его звучал громко, уверенно и свободно, речь текла плавно и спокойно.

— Народ мой, собравшийся здесь, сородичи мои, Керей и Сыбан! Вы поставили меня между собою, чтобы я нашел исток вашего раздора и вернул вам мир… Вы доверили мне ваше дело, сказав: «Будь швом разорванному, заплатой лопнувшему». Я хочу предупредить вас, что, решая ваше дело, я думал о нуждах и чаяниях всего народа, а не отдельных людей. А думая о народе, я прежде думаю о его молодом поколении. Тяжбы из-за невесты, проклятые тяжбы, ведутся у казахов испокон веков. Но времена меняются и законы стареют, открылись новые пути борьбы с такими тяжбами, пожирающими наш мир, дробящими наше единство, позорящими нашу честь… Вот, родные, с этими мыслями я и подходил к вашему делу, и решение мое вызвано только ими. Итак, первое решение — о девушке Салихе. Я не знаю, с какой меркой подходили к такому делу наши предки, на чем они основывали свои приговоры. Но я знаю, что новое поколение подходит к ним с иными мыслями. Оно не хочет жить в горе и печали с самых юных своих дней. Новые времена устанавливают и новые обычаи. Те отцы народа, которые не желают считаться с волей нового поколения, будут не излечивать раны, а бередить их.

Девушка Салиха уже показала однажды свою покорность воле родителей: без сопротивления она стала невестой того, кого они избрали для нее. Но судьба лишила ее нареченного, равного ей и по возрасту и по достоинствам. Нет двух смертей для одной жизни, таков закон всевышнего. А требование Сабатара— кровавая узда второй смерти, накинутая на голову девушки. Я знаю, что говорю: да, не простая узда, а кровавая, — девушка готова умереть, только бы избавиться от того, что ее ждет! Народ мой, у всех вас есть сестры и дочери!.. Несправедливо дважды продавать девушку. Один раз она уже отдала свободу своему роду — пусть теперь ее свобода вернется к ней. Девушка Салиха свободна от сватовства и сговора. Это мое первое решение.

Абай подчеркнуто громко и раздельно сказал эти слова и сразу же продолжал:

— Но и род Сыбан не виноват в том, что ее нареченный жених умер. Сыбан сватал его с добрыми намерениями, честно выплатил весь калым, и вы, кереи, получили его сполна и даже не один раз, а дважды. И первый-то калым был достаточно велик, он стоил по меньшей мере пятидесяти верблюдов. Но вы, воспользовавшись тем, что Салиха идет теперь за старика, да еще третьей женой, потребовали дополнительный калым — и опять много получили. Родную дочь свою вы без колебаний решили продать во второй раз. И тут сыбанцы не виновны. Виновны вы, кереи, в жадности вашей виновны… Итак, за нарушение сговора кереи вернут Сыбану полученный ими калым и добавят пеню. Они получили богатства на пятьдесят верблюдов в первом калыме, на двадцать пять — во втором. За вину кереев перед Сыбаном и перед собственной дочерью я определяю пеню в двадцать пять верблюдов. Значит, кереи вернут Сыбану сто верблюдов. Расход этот должны нести поровну род невесты и род жигита, избранного ею в мужья. Это мое второе решение…

За эти три дня я собрал все сведения об убытках, понесенных обеими сторонами от этой вражды. Сыбанцы угнали у кереев двести коней, кереи у сыбанцев — сто семьдесят. Пусть вернут друг другу коней и заменят пропавших другими, пятилетними. Вот, сородичи, мое решение по этому делу. Оно исходит из одного желания — восстановить мир и единство между племенами. Я сказал все.

Толпа замерла в гробовом молчании. Только оба ояза, которым толмачи переводили слова Абая, одобрительно переговаривались. Все видели, как они, улыбаясь, кивали головой Абаю, как бы одобряя его решение, и, подойдя, заговорили с ним. Это был знак всем собравшимся, что тяжба закончена.

Но ни среди кереев, ни среди сыбанцев, окружавших холмик с двух сторон, не было слышно ни того оживленного шума, который всегда сопровождает приговор, ни обычных возгласов: «Согласен!» — «Не согласен!» — «Не может быть!» — «Правильно решил!» Даже тобыктинцы, наблюдавшие за разбором со стороны, не проронили ни звука.

Жиренше, который сидел среди сыбанцев, шепнул что-то своему соседу, высокому представительному аксакалу, и старик вдруг вскочил на ноги и громко закричал в сторону Абая:

— О Кенгирбай, Кенгирбай, где же дух твой? Разве такой приговор выносил ты сам своевольной дочери рода? К духу твоему взываю, святой предок!..

Старик вышел из толпы, продолжая призывать имя Кенгирбая. Намек его был ясен только немногим: некогда предок Абая Кенгирбай, разбирая такую же тяжбу о невесте, приговорил к смерти и невесту и нарушителя свадебного сговора — Енлик и Кебека. Выкрик старика почти не привлек внимания, толпа стала расходиться.

Но Абай и услышал и понял слова старика. Он долго стоял в глубокой задумчивости и неожиданно громко расхохотался. Жиренше и Уразбай подошли, к нему, в недоумении глядя на его улыбающееся лицо. Жиренше, казалось, был озабочен.

— Все бы прошло хорошо, если б не этот аксакал… — сказал он с преувеличенной тревогой. — Вспомнить сейчас Кенгирбая! Меня прямо потрясло его заклинание… Наверное, и ты раскаиваешься сейчас в своем решении?.. Неужели ты не понял, что и сам сбился с пути предков и людей с него совращаешь? Признайся честно!

Он так и впился в лицо Абая. Тот, перестав смеяться, сурово повернулся к нему.

— Кенгирбая народ называл кабаном, потому что он за взятку кровь своих братьев пил, понял? Я не сын Кенгирбая, я сын человека, — холодно ответил он и быстро пошел от них.

Жиренше и Уразбай, с недоумением и злобой глядя ему вслед, застыли на месте, словно их палкой по голове ударили. Наконец Жиренше покачал головой:

— Зазнался он!.. Ну, посмотрим…

— Кунанбай тоже зазнавался, да чаша через край переполнилась, — зло сказал Уразбай. — С этим то же будет, дай срок…

Балкыбекский съезд быстро шел к концу. Начальники вскоре уехали, народ тоже стал разъезжаться. Абай со своими друзьями направился в Байкошкар. В тот же день и в ту же сторону тронулись и Жиренше с Уразбаем. Догнав Абая, они подхлестнули коней и, обогнав его на расстояние полета стрелы, поехали впереди отдельно.

После того резкого разговора, когда он обругал их, Абаю не представлялось случая поговорить с ними и объясниться. Он ударил своего саврасого и крупной рысью нагнал их. Но едва он поравнялся с ними, оба, молча переглянувшись, пустили коней вскачь и быстро вынеслись вперед.

— Вот как?.. Понимаю! — крикнул им вслед Абай. Задержав коней, они обернулись. Жиренше злобно выкрикнул:

— Вот так и будет! Хватит!

— Понимаешь — тем лучше! — добавил Уразбай.

И они снова поскакали вперед, кипя от злобы. Абай задержал коня, с горечью глядя вслед тому, кого называл другом. Он понимал, что между ними началась вражда.

Такежан и Майбасар возвращались со съезда, окруженные целой толпой. Здесь тоже, не смолкая, ругали Абая. От Жиренше они уже знали о сорока отборных конях, обещанных Бараком.

— Мог вернуться и с почетом и с табуном, а возвращается и без почета и без коней, — негодовал Такежан. — Все обычаи нарушил, судил, как русский начальник… Да и тот не сумел бы так унизить честь наших предков…

Но такого мнения держались только аткаминеры Тобыкты. Ни керей, ни сыбанцы Абая не осуждали. Они приняли его решение и заявили обоим оязам: «С решением согласны, мы помирились». Жумакан и Барак от всего Сыбана, а Тойсары и Богеш — от Керея составили «мировую» и, приложив к ней свои печати, вручили начальникам. Они оценили Абая как человека новых мыслей, смело ломавшего старые казахские обычаи.

— Слова его — добрые. В них исцеление для народа. С этим человеком весь округ считаться будет, — говорили примирившиеся.

По дороге, ведущей из Акшокы в Семипалатинск, ехала повозка с откинутым верхом, запряженная тройкой. На козлах сидел Баймагамбет и, пользуясь прохладой осеннего утра, то и дело погонял саврасых, бежавших крупной рысью. В повозке, обитой изнутри красным сафьяном, сидели Абай и его трое детей: Абиш, Магаш и Гульбадан. На бледном обычно, худеньком лице Абиша играл яркий румянец оживления. Он беспрерывно расспрашивал отца о предстоящей ему новой жизни:

— Где мы будем жить в городе, отец? У казахов или у русских?.. Вместе все трое будем жить?.. Лучше я буду жить отдельно у русских и учиться один!..

— Вот еще! Это я буду жить одна в русской семье! Там будет такая же девочка, как я, и я скорее вас выучусь! — со смехом перебивала Гульбадан, вообще говорившая гораздо смелее братьев. Оттеснив в сторону Магаша, она лежала, положив голову на колени отца. Абаю нравилась решительность девочки и ее жизнерадостность, не изменившая ей даже при первой разлуке с матерью. Пощекотав ее подбородок, он ласково ответил:

— Беззаботная моя, золотая!.. Ты, пожалуй, храбрее всех братьев, ты будешь жить отдельно… Отдам тебя в руки образованной русской женщине, которая тебе матерью будет. Всех вас хорошо устрою! Теперь и сам часто буду жить в городе, с вами буду. Для меня нет ничего важнее вашего ученья.

Он обеими руками обнял детей и крепко прижал их к себе. Магаш давно уже сидел молча, задумавшись: разлука с домом огорчала его больше, чем остальных. Абай, желая рассеять грусть мальчика, притянул его к себе и весело попросил:

— А ну-ка спой, Магаш, начинай, запевай песню!

Магаш был очень доволен, что отец обратился именно к нему. Тонкие губки его заиграли улыбкой, открывая белый ряд мелких зубов.

— А какую, отец? — оживился он, обнимая Абая. — только я начинать не буду, боюсь, напутаю, начинай ты сам!

Гульбадан отлично поняла намерение отца и сама начала шутить с братом:

— Ну вот! Только скажут: «Стой!» — Магаш и упрется: «Пусть кто-нибудь начинает!»—весело вмешалась она. — Он совсем как жеребенок, что все назад пятится!

Все рассмеялись, даже Баймагамбет. Магаш смущенно спрятал лицо в подушку, но засмеялся и сам. Абиш вступился за него:

— Ты думаешь, раз жеребенок пятится, так он и вперед не бежит? Откуда тебе это знать, ты же верхом не ездишь!

Тут и Магаш быстро поднял голову:

— Куда ей жеребенок, она и на овце ездить не сумеет! А вот мой тай,[52] который все пятится, летом на байге пять раз первым приходил, вот как!

И совсем развеселившись, он повернулся к Абаю:

— Начинай песню, отец!

Абай запел «Козы-Кош», и дети стали подпевать ему.

Поездка длилась два дня. Абай то пел, то рассказывал детям сказки или заставлял Абиша и Гульбадан самих рассказывать то, что они знали. Когда путников начинал одолевать сон, они все, не исключая и Баймагамбета, снова затягивали песню. Так они добрались наконец до города.

По совету Михайлова, Абай отдал Магаша и Гульбадан в училище. Учиться они должны были в разных школах — мужской и женской, но жить Абай устроил их вместе в одной русской семье, которую рекомендовал Андреев. С Абишем Михайлов посоветовал поступить иначе. Абиш уже знал арабскую грамоту, отличался понятливостью и большой любознательностью. Занимаясь в ауле с толмачом и постоянно разговаривая с ним по-русски, он уже хорошо понимал русский язык, но для начальных классов был по годам велик. Поэтому его поселили отдельно у образованных людей, которые могли и совершенствовать его в русской речи, и следить за его общим воспитанием. В школу его не отдавали, Абай нашел для него опытного домашнего учителя.

С первых же дней Михайлов принял близкое участие и в самом Абише и в вопросах его воспитания и дал Абаю еще один совет:

— Ваш старший сынок, Ибрагим Кунанбаевич, по-моему, способен учиться серьезно. Вы не огорчайтесь, что он немного перерос… Пожалуй, оно даже и лучше, что он приехал сюда, уже получив кой-какие знания на родном языке. Может быть, именно теперь ему и будет легче перейти к ученью на другом языке. Послушайтесь меня: пусть за эту зиму ваш Абдрахман хорошенько подготовится с учителем, а на будущую—определите его в школу, только не у нас в Семипалатинске: в Тюмени учебные заведения гораздо лучше наших. У меня там есть хорошие знакомые, может жить у них. Лето он пусть проводит в степи, а зимой живет в городе и получает русское воспитание. Если его не подведет здоровье, будем надеяться, что в будущем и в Питер его снарядим, в университет!

Абай горячо поблагодарил Михайлова, который, как настоящий друг, заботился о его детях гораздо больше, чем все друзья и родственники в ауле. Советы его Абай принимал не задумываясь.

Они беседовали в просторном кабинете Михайлова. Уже начинало темнеть. Из внутренних комнат к ним вышла молодая женщина, держа в руках настольную лампу. У нее было нежное круглое лицо, пышные русые волосы и большие синие глаза. Абай впервые видел ее в этом доме, — обычно, когда друзья встречались, в квартире была одна только Домна, выполнявшая домашнюю работу.

Женщина скромно поздоровалась с гостем. Михайлов поднялся ей навстречу, взял из рук ее лампу и, поблагодарив, подвел к Абаю и ласково обратился к ней:

— Познакомьтесь, Лизанька, это мой друг Ибрагим Кунанбаевич. — И, заметив на лице Абая недоумение, слегка покраснел и засмеялся. — Знакомьтесь, Ибрагим Кунанбаевич, моя жена — Елизавета Алексеевна.

Абай растерялся. Он не знал, как принято у русских поздравлять в таких случаях.

— Что же вы скрывали, Евгений Петрович? Ведь я ничего не знал… Желаю вам счастья… — неуверенно заговорил он.

Эта женщина ничуть не была похожа на петербурженок и москвичек, которых Абай изредка встречал в домах начальства или у Акбаса. Она казалась самой обыкновенной местной жительницей, каких Абай ежедневно видел на улицах Семипалатинска. Во всех ее движениях и в обращении с мужем и с гостем сквозила застенчивость. Она побыла в комнате лишь несколько минут и вышла, тихая и неторопливая. Михайлов тут же рассказал Абаю короткую историю своей женитьбы.

— Я ведь совсем надавно женился, неожиданно для себя, без всяких сложных рассуждений. Она — девушка из скромной местной семьи, не получила ни нужного образования, ни воспитания… Вот вы обучаете Абиша, а я ей стараюсь дать домашнее образование… Воспитать ее и сделать своим равным другом — мой долг…

О крупном событии своей жизни он рассказывал с какой-то неловкостью, будто стесняясь. Абай не стал расспрашивать подробнее, и Михайлов тотчас заговорил о своем возвращении на службу в областную канцелярию.

На этот раз Абай жил в городе очень долго. Однажды он приехал в дом Тинибая, где не был с самого приезда, и остался ночевать у Макиш. Та упрекнула брата за долгое отсутствие и шутливо напомнила ему, что раньше, когда здесь была Салтанат, он появлялся чаще. Имя Салтанат вызвало в Абае светлые воспоминания об их удивительной дружбе, и он сказал, медленно роняя слова:

— Салтанат… Чудная Салтанат… Как она была хороша!.. Такой драгоценности я не встречал среди наших девушек.. — И, быстро повернувшись к сестре, он спросил: — Расскажи, что с ней стало? Как она живет? Встречалась ты с ней за эти годы?

Макиш начала рассказывать. Абай жадно слушал дорогие для него вести.

Салтанат давно уже замужем за тем, кому она была тогда просватана. Она уже простилась со своей волей, с тех пор ей удалось побывать в городе только этим летом. Она привезла с собой маленького сына. Подруги проводили вместе целые дни. Как-то Макиш повезла свою гостью на Полковничий остров, они взяли в лодку кумыс и еду и провели весь день в задушевной беседе.

Тут Макиш удивила Абая: оказалось, она знала все стихи брата, сочиненные им за эти годы. И тогда, на острове, она все их перечитала и перепела подруге. Салтанат слушала молча, с глубоким волнением, потом, подозвав к себе сынишку, обняла и обратилась к Макиш:

— Жизнь далеко увела меня от моих мечтаний… Дни встреч с Абаем кажутся мне вот таким же островком — тенистым, цветущим, счастливым островком в радостном весеннем убранстве… Блаженные были те недолгие дни… Я покорилась своей участи. Я принадлежу другому, мне не о чем молиться для себя… Но сегодняшний разговор с тобой, милая Макиш, воспоминания, песни Абая — все воскресили во мне. Опять я чувствую прежнюю тоску… Но она не бесплодна: я приношу обет, рожденный ею. Не только сама буду всегда чтить имя Абая, обещаю сделать его дорогим и для своих детей. Да будет моим материнским долгом вырастить их юными верными друзьями Абая, готовыми всегда идти за ним… Это будет последним даром моей дружбы…

Волнение охватило Абая. Слова Салтанат растрогали и умилили его. Он мысленно благодарил сестру за то, что она говорила с Салтанат о нем. Чувствуя в Макиш настоящего, близкого друга, которому легко открыть свою душу, он вслух высказал свои взволнованные мысли:

— Только Салтанат могла сказать так… Она говорила о своем долге — и этим напомнила мне о моем. Я понял ее слова: она хочет, чтоб я создавал такие стихи и песни, которые были бы любимы новым поколением, потомством нашим, ее детьми, были бы дороги им… Она будто сказала мне: «Пусть тропа моя идет за далекими перевалами — лишь бы доходил до меня твой голос…» Я понял, понял тебя, друг несбывшейся мечты моей.

Это были его сокровенные мысли, ответ Салтанат. Он замолчал. Душа его погружалась в мир образов и мыслей, в мерные волны стихов.

Всю осень и первую половину зимы Абай провел в городе: устроив детей учиться, он не мог легко расстаться с ними. Будние дни он проводил в Гоголевской библиотеке; занятия там, которые все больше походили на работу ученого исследователя, очень увлекали его. По вечерам, оставаясь наедине с Баймагамбетом, он пересказывал ему содержание прочитанных книг, главным образом романов. Благодаря этому запас рассказов у Баймагамбета все возрастал.

По субботам Баймагамбет закладывал санки и ехал за детьми Абая. Из одного места он привозил Магаша и Гульбадан, из другого — Абиша. Две ночи и один день дети проводили с отцом. Абай старался ничем не занимать эти вечера, не принимал даже и людей, приехавших из аула. Все время он отдавал детям, беседуя с ними, занимаясь или просто играя, заставляя и Баймагамбета рассказывать им сказки. Порой все вместе они пели какую-нибудь песню, и вечера проходили у них весело и радостно.

Раз в неделю Абай заходил на квартиру к Абишу и подолгу беседовал с хозяйкой ее — Анной Николаевной, образованной и умной пожилой женщиной. Также навещал он и дом Екатерины Петровны, матери четверых детей — двоих мальчиков и двух девочек, подходящих по возрасту и Магашу и Гульбадан. Она была вдовой офицера, жила уроками, воспитывая детей, и Абай не раз отправлял ей с Баймагамбетом помимо условленной платы колотых баранов и мешки с мукой.

Кроме своих детей Абай устроил учиться нескольких казахских сирот-ребятишек. Он решил сделать это после одного разговора с Михайловым. Тот рассказал ему, что два года назад пришел приказ «корпуса» из Омска — выделить для ученья в городских школах по одному мальчику из каждой волости. Но никто из родителей послать в ученье детей не пожелал, а нашлись и такие, которые соглашались отдать ребят в школу за выкуп. Словом, когда в аул смог наконец проникнуть слабый луч знания, вековая косность и тут наложила свой запрет. С горькой улыбкой Михайлов заметил, что во всем Семипалатинском уезде не нашлось ни одного человека, который согласился бы послать своего сына в ученье.

Узнав об этом, Абай написал кое-кому из тобыктинцев, на кого имел влияние. Так ему удалось добиться, что один из юных жатаков, Анияр из Чингизской волости, был устроен в интернат. От Молдабая прибыл в школу из Шаганской волости сиротка-киргиз Омарбек. Такежан по его письму прислала из Кзыл-Адырской волости еще одного сироту Курманбая. Кроме того, Абай пристроил и двух ребят из Ералы, сирот-жатаков племени Мамай, определив их в мусульманское медресе. Судьба жатаков продолжала волновать Абая и тут, в городе. «Пусть хоть молодое их поколение озарится лучом света, — думал он. — Может быть, через них и отцы свет увидят… Выучатся, народу пользу принесут…»

Недавно Абай узнал, что скот, отданный беднякам по его решению на Балкыбекском съезде, все же не достался им целиком. Правда, до Ералы весь табун добрался благополучно, но осенью десять коней из тридцати, полученных жатаками, были по одному, по два раскрадены неизвестными ворами. И, хлопоча о детях жатаков, Абай думал: «Пусть хоть кто-нибудь из жатаков получит богатство, которое нельзя расхитить, — знание». Поэтому-то он и старался устроить в ученье именно детей бедняков.

Наступила вторая половина зимы, Абаю пора было возвращаться в аул. В субботу он заставил Баймагамбета целых полдня разъезжать по городу: он вызвал к себе всех маленьких казахов, пристроенных им в школу и живших в разных концах города. Он собрал их у себя, и весь вечер дети распевали песни, затевали игры. Сам он загадывал им загадки, Баймагамбет угощал сказками и прибаутками. Перед ужином, когда ребятишки устали и угомонились, он подозвал к себе и своих детей и гостей.

Он достал листок бумаги, исписанный им еще утром. Дети с недоумением ждали, что будет. Абай громко и внятно прочел им никому еще не известное новое стихотворение:

Мальчиком жил я среди темноты.

Не зная, как ценны ученья плоды.

В вас, дети, — вся радость взрослых людей!

Что нам не далось — берите смелей!

Учись, мой сынок, — завет мой таков —

Для блага народа, не для чинов!

Он несколько раз повторял им эти строки, а потом сказал короткое прощальное слово:

— Дети мои, младшие братья мои! Мы, ваши отцы и старшие братья, похожи на траву, которая пожелтела, не успев вырасти. В свое время мы не получили знаний и теперь горюем об этом. Наука — несбывшаяся наша мечта. Вам я желаю того, о чем сейчас прочитал. Это пожелание вашего старшего брата, пожелание ваших степей, вашего народа, который ждет от вас помощи. Учитесь с одной только целью — стать человеком! Учитесь, чтобы быть полезными своему краю, чтобы быть честными людьми, заступниками за свой народ…

И, помолчав, он закончил:

— Вот что хотел я сказать вам на прощанье. А стихи эти нарочно написал для вас один акын по имени Кокпай.

Всю зиму Абай часто записывал звучавшие в нем слова затаенной мечты — стихи. Но сам он не верил еще в себя как в акына, как в поэта. И требовательная его душа, не уверенная еще в своем даре, скрылась под другим, никому не известным и скромным именем — Кокпай.

НА ВЕРШИНЕ

1

Прошло несколько лет. Для Абая это были годы упорного труда и исканий. Время, проведенное с книгой или с пером в руке, будь то зимой или летом, Абай считал счастливейшими часами, своей настоящей жизнью. Думать, искать и доверять бумаге все пережитое стало смыслом его существования. Искры истины и высокие мысли, найденные им в книгах или познанные в жизни, находили себе место в его стихах, в песнях, каких до него никто еще не пел на его родном языке.

Имя Абая-поэта было в то время уже известно повсюду. Он и сам понимал теперь свою поэтическую деятельность как долг перед народом. Множество его стихов, объединенных названием «О народе», клеймило невежественных смутьянов, впившихся в тело народа, как клещи, справедливым гневом карало неугомонных степных воротил, взяточников-управителей. Эти стихи были совестью народа. Их наполняла забота о тяжелой доле людей, изнемогающих в труде, любовь к ним. Молодому поколению Абай пел о красоте, вызвышая души, заставляя глубоко задумываться над жизнью и искренне чувствовать.

Рождаясь в Акшокы, эти песни разлетались далеко по бескрайным степям. Теперь Абай записывал свои произведения, и столпившаяся вокруг него молодежь, полная высоких стремлений, влюбленная в его стихи, заучивала их наизусть, подбирала к ним напевы и разносила в песнях по степи.

Однако жизнь не давала Абаю заниматься лишь тем, чего просила душа. Несмотря на многократные отказы, ему все же не удавалось освободиться от хлопотливой обязанности: население аулов постоянно привлекало его к решению всевозможных тяжеб и споров как справедливого судью.

В солнечное зимнее утро Абай сидел в своей большой комнате на обычном месте у высокой кровати с костяной резьбой, подложив под бок большую белую подушку, всегдашнюю свою соседку. То облокотясь о край низкого круглого стола, то опираясь широкой ладонью о колено, он сидел безмолвно, погруженный в раздумье. Его темные глаза, в глубине которых дальними огоньками светилась настойчивая мысль, пристально смотрели на виднеющиеся в окне снежные холмы Акшокы, ярко освещенные утренним солнцем. Неведомой, незыблемой мощью были полны эти закутавшиеся в снег горы…

Нынче Абаю как-то удавалось освобождаться от тяжебных дел степи, и, избавленный от частых разъездов, он подолгу оставался на своей любимой зимовке. Этот год и был одним из самых плодотворных для поэта. Читая книги или сочиняя стихи, проводя счастливые часы внутренних затаенных волнений и горения, он часто вглядывался в эти холмы и как-то сжился с ними. В утренние и предвечерние часы размышлений грустное сердце находило себе отклик в молчании холмов. Всегда суровые, всегда хмурые, они как будто вечно полны неисполнимого желания, — в пасмурные дни они тоскуют о солнце, в солнечные — мечтают о весне… Сейчас, казалось, их седые брови разошлись: по склону карабкалось пестрое шумное стадо, — хоть песни пастухов услышат одинокие безмолвные горы…

Баймагамбет, давно заметив сосредоточенное состояние Абая, сидел поодаль, не нарушая тишины. Чтобы хоть что-нибудь делать, он достал плетку Абая и принялся мастерить из сыромятного ремня новую петлю. Занявшись этим делом со всем усердием, он лишь изредка поглядывал на Абая. Тот вдруг шевельнул рукой и стал размеренно водить ею в воздухе, шепча невнятные слова. Раньше такой привычки у Абая не было, она появилась лишь в эту зиму, и Баймагамбет знал, что сейчас Абай спросит карандаш и бумагу. Но на этот раз Абай, взглянув на него отсутствующим рассеянным взглядом, молча протянул левую руку, как бы прося что-то подать. Баймагамбет понял и, проворно вскочив, положил на стол две толстые потрепанные книги.

Абай раскрыл одну из них, нашел нужную страницу и, пробежав ее глазами, снова откинулся, отвлеченный своими мыслями.

Эти две книги не были понятны никому в этом ауле и всей окрестности: язык их берег от всех заключенные в них тайны. Одному Абаю понятны и дороги книги двух поэтов из далекого мира и далеких времен. Пушкин и Лермонтов… Оба они прошли свой жизненный путь вдали от степей, где жили его деды, и кончили жизнь в неведомых далях, чуждые и неизвестные казахам. Но за эту зиму оба стали так близки Абаю… Явились из другого мира, изъяснялись на другом языке, — а отнеслись к нему приветливо, как родные. Двойники его в огорчениях и в грусти, они, разгадав его душу, как бы говорили ему: «И ты своими мыслями подобен нам!»

С тех пор как Абай подружился с ними, отошли в тень и Машраб, и суфи Аллаяр, и даже Физули. Приезжавшие до делам набожные старики или муллы, видя Абая, сидящего над этими толстыми книгами, довольно качали бородами. «За ум взялся, шариат читает, — переговаривались они между собой и пускались в догадки — Это, верно, поминальные молитвы из корана… Не мулле поручает, а читает сам, благочестивым стал!..»

Но, когда они замечали, что книга раскрывается влево, что страницы ее — с рисунками, и когда, вглядевшись, они видели вместо затейливых арабских букв ровное и спокойное течение русских строк, — они, пораженные, шарахались от книги и тут же умолкали. Некоторые из родовых воротил, уходя от Абая, спрашивали друг друга: «Для чего же он, как прикованный, сидит за этим левым письмом?» Другие отвечали: «Гордится этим. Разве ты не чувствуешь, что он хочет сказать, — вот, мол, я ближе вас к властям…»

Абай знает, что его тайные немые друзья беспокоят многих, как недобрая загадка. Но он нимало не тревожится этим.

Друзья его — мертвы. Но разве можно назвать смертью такую смерть? Навеки бессмертные, они заповедали миру помнить их имена. От человека остается только могильная насыпь, с годами она сравнивается с землей. Так же меркнет в памяти живущих и воспоминание о недавнем призрачном существовании: когда насыпь исчезнет — человек проглочен вечностью. А эти два человека утвердили на земле память о себе, как мощные незыблемые горы. Они подобны двум вершинам Акшокы, вознесшимся надолго, на века…

Абай со вздохом подумал: «Благословен народ, просветленный знанием!.. Если б и нам, казахам, предки оставили золотой клад знаний и просвещения!..» Оба поэта представляются ему такими близкими друг другу, родными: «Это — братья, вся жизнь которых—ярко пылающий, неугасимый факел для последующих поколений, для всех носителей мысли среди всех народов и всех времен…»

С глубоким вздохом Абай вновь склонился над письмом Татьяны. «Какие искусные слова! Не слова — дыхание, трепетное биение сердца… Нежная глубина!» — подумал он с восхищением и неожиданно вспомнил сложенные им когда-то стихи:

Речь влюбленных не знает слов.

У любви язык таков:

Дрогнет бровь, чуть вспыхнут глаза —

Вопрос иль ответ готов.

Помню, так и я говорил,

И мне понятен он был —

Тот язык, но память сдала.

Теперь я его забыл..

Покоренный волнением Татьяны, он снова вчитывался в пушкинские строки. «Такие дни прошли для меня, — думал он, — да и в те дни — слышал ли я подобный голос?..»

И тотчас, прорезав мрак его памяти, как падающие звезды прорезают темный небосвод, перед его глазами промчались два светлых облика. Один — лик сияющей юности, Тогжан; второй, полный душевной тоски, — Салтанат. Еще вчера, переводя письмо Татьяны, он вспоминал их. Обе, подобно самой Татьяне, подавили разумом голос сердца, обе не смогли поднять голов, опутанных уздою неволи. И все время, пока Абай переводил грустные излияния Татьяны, в его сердце приглушенно звучали и их прощальные слова. Сами собой они находили себе место в слагаемых им строках.

«Пусть их чуткие сердца вникнут в эту песню, они поймут ее как свою», — думалось ему.

Поэтому-то он и решил перевести письмо Татьяны. Последние два дня он помогал ей заговорить на чужом ей казахском языке. Чем дальше, тем больше слов находит его Татьяна в мягком, побеждающе-нежном напеве. Все благороднее в своей грусти, все красноречивее становилась эта девушка, покорившая его. Он сравнивает казахское письмо Татьяны с письмом, написанным по-русски. Порой не так, как у Пушкина: Татьяна говорит иногда слишком обычными словами. Но это — невольная дань ее новым слушателям… Да и то — поймут ли они ее? Он подумал о Кокпае и Муха: что, если и они не поймут этих слов?

В страницы «Евгения Онегина» было вложено полученное вчера письмо. Баймагамбет, вернувшись из Семипалатинска, привез его Абаю вместе с десятком новых книг, отвечая на восторженное восхищение Абая «Евгением Онегиным», Михайлов писал: «Недавно роман этот переложен на музыку. Говорят, она достойна пушкинской Татьяны и Ленского, петербургская и московская публика живет и дышит ею. Но что делать — нам не судьба услышать ее…»

Перечитывая это, Абай вспомнил о Кокпае и Муха.

«А они, бедняги, красивым пением украшают вздорные стихи, — усмехнулся он и взял стоявшую возле домбру. — Я дам этим мелочным торговцам вместо бязи дорогие шелка…»

И снова шепчут его губы какие-то слова, а смягченный взор все чаще устремляется к двум вершинам Акшокы. Но сейчас этот взор не видит окружающего. Это взор мысли. Взор глубоко взволнованной души поэта. Пальцы торопливо перебирают струны. В прошлую ночь, ложась спать, он смутно улавливал отдаленно звучавшие и гаснувшие звуки, а сейчас так быстро пришли они в его память и так легко начали ложиться в струны его домбры. Он попробовал тихо, но внятно вторить им голосом. Размер близок пушкинскому.

Ты — мой супруг любимый,

Богом указанный мне…

Стыдливая тайна Татьяны еще робко, еще неуверенно начинает звучать в напеве домбры. Еще строка… Еще…

То облокотясь на подушку, то откидываясь от нее, он торопливо понукает домбру. Парные струны тихо рокочут, порой лишь резкий звук выходит за нужный, уже отысканный предел. Дорого достались две последние строки, но и они стали в лад с музыкой.

Абай без перерыва спел на найденный напев три строфы письма Татьяны. Довольно улыбнувшись, он выбросил из-за губы насыбай и заложил тут же новую щепотку. То громко, то тихо перебирает он струны. Как будто запомнил…

Вдруг он круто повернулся всем своим массивным телом в сторону Баймагамбета. Глаза его на этот раз сверкнули весело и задорно и тут же мягко потухли.

— Ну, что ты тут сидишь? Понял ты что-нибудь? Растерявшийся от неожиданного вопроса Абая, жигит показал плетку:

— Починяю вот, Абай-ага!..

— А что я делаю — не догадался?

— Думаю, вспомнаете какую-то русскую песню…

— Вон как… Ну что ж, и то хорошо! — рассмеялся Абай. — Ступай позови Кишкене-муллу.

И, чтобы не забыть только что созданного им напева, он заиграл его снова. Но едва Баймагамбет открыл дверь, Абай увидел входящую Айгерим, а за ней — приезжих. В руках у них плетки, лица покраснели с холода; люди — в овчинных тулупах, в чекменях, в стеганых халатах, у двоих покрой шапки шестиклинный, узковерхий — племени Уак. Абай, все еще продолжая перебирать струны домбры, поморщился:

— Фу, какой мороз ворвался… Айгерим удивилась:

— Какой мороз, Абай! На улице и сало не застынет!..

— Показалось — мороз, оказывается — люди, — ответил Абай и поздоровался с приезжими. Айгерим приняла его ответ как один из непонятных для нее за последнее время поступков и, не ответив, прошла в соседнюю комнату. Оттуда вышел Кишкене-мулла. Абай быстро взглянул на него:

— Мулла-аке, вы переписали письмо Татьяны? Она наконец, решилась запеть…

— Хорошо придумала… Письмо переписано.

— Напишите Кокпаю и Муха! Скажите, им шлет привет Татьяна и хочет, чтобы они были знакомы с ней… Мухамеджан едет в город, он отвезет им голос ее привета…

Приезжие не поняли, о чем идет речь, но по виду их было ясно, что это их никак не занимает. Слова Абая настороженно слушал только Мухамеджан — молодой, румяный, сероглазый жигит, вошедший вместе с Кишкене-муллой.

Мухамеджан и в самом деле ехал в город. Так же как Муха и Кокпай, он был одним из лучших в округе певцов, кроме того, он и сам изредка слагал стихи. Он нетерпеливо спросил:

— Кто же это решился петь, Абай-ага?

Вместо ответа Абай взял домбру и спел ему три строфы «Письма Татьяны» и потом, не вступая с ним в разговор, отложил домбру и обратился к приезжим с расспросами.

Не уловив с одного раза напева, Мухамеджан обратил внимание на слова новой песни. Среди всей молодежи окрестности Мухамеджан одним из первых узнавал и заучивал новые стихи и песни Абая. Но этой песни он еще не знал и нигде раньше не слышал. По-видимому, не знают ее ни Кокпай, ни Муха. Тут он сообразил, что Абай поручил ему заучить и довести до них только что написанную песню.

Хотя Мухамеджан и приходился близким родственником Абаю, но, будучи гораздо моложе его, не смел попросить Абая спеть еще раз. Кроме того, он отлично знал, что Абай не любит приставаний. Поэтому, решив остаться в Акшокы пообедать, он тут же пошел к Кишкене-мулле переписывать новые стихи Абая.

Абай уже занялся приезжими.

Задавая им обычные вопросы о здоровье и благосостоянии аулов, Абай был странно поражен только теперь замеченным обстоятельством. Он вспомнил, что не так давно видел уже у себя этих двоих уаков и этого же кокше в таких же одеяниях, буквально с таким же выражением лиц. И этот конокрад из рода Кокше, Турсун, сидел так же скромно, молчаливо, с опущенной головой, как бы задремав. А этот истец Сарсеке из Уака, низкий и тучный, тогда так же пыхтел, широко рассевшись, и так же, как теперь, требовал у Турсуна возвращения украденного скота. Но тогда ведь он получил возмещение за своих коней?

Жизнь так быстра, так изменчива, — почему же этим выходцам из различных родов суждено так нудно и серо оставаться неизменными? Которая из этих двух картин — сон?.. Тогда или теперь?.. Глядя на этих людей, можно подумать, что время не шло, а застыло…

Так двоились мысли Абая, пока он слушал Сарсеке. Голос того звучал монотонно, как пест и ступа, сделанные из дерева. Наконец Абай услышал что-то новое:

— Вот что думал этот вор, Абай-ага: «Тогда ты так и не дал мне присвоить тот скот. Привел к Абаю и заставил срыгнуть обратно. Так я ж тебе еще насолю!» — вот что он думал. И решил, что, если он снова украдет у уака, ничего не случится. Назло украл!.. В тот раз угнал трех коней, а теперь угнал целых пять голов… Ну разве это не дело рук мстительного вора, Абай-ага?

Абай понял эту новую тяжбу. Он хотел разгадать правду по лицу конокрада, но тот сидел, наклонив голову в длинношерстой рыжей шапке с крепко завязанными наушниками, показывая только кончик толстого носа и часть редкой черной бороды. Исподлобья следя за каждым движением Абая, он сидел молчаливый и недвижный, словно каменное изваяние.

В спор, затеянный Сарсеке, он еще не вмешался ни единым звуком, слушая, как посторонний разговор, и показывая всем своим видом, что заставить его заговорить может только Абай, а Сарсеке никогда не сдвинет его с места. Хочет ли он выразить этим свое уважение к Абаю, как к большому бию, или же он хочет оставаться неуязвимым для истца?

Абай решил посмотреть на его лицо и сурово окликнул:

— Ну, а ты что скажешь?

Рыжая шапка медленно повернулась, и упрямое лицо только теперь глянуло на Абая. Турсун взметнул свои маленькие серые глаза и опять опустил голову. Веки толстые, щеки отвислые — да и лицом и всем телом он подобен цельному сучковатому обрубку. Наконец, покачнувшись на месте, он заговорил:

— Абай-ага, недавно этот Сарсеке по твоему приказу отобрал у меня все. Тогда ты велел расплатиться, и я исполнил, покорился. А как опять пропал у уаков скот, так прав, не прав — отвечать все равно мне, что ли? — спросил он.

«Снова бесконечные препирательства, — с досадой подумал Абай. — Где истина, где ложь?.. Есть ли конец таким тяжбам и таким тяжущимся? Опять нужно копаться в грязи. Пока добьешься истины у упрямых сторон, измотаешься… Отвлекли опять… Где Пушкин и где тончайшая нежность чувств Татьяны? Где ее прозрачная истина, идущая из правдивого сердца?.. Истец в погоне за своим скотом. Упрямый вор, живущий чужим добром. Бесконечная муть запутанной жизни… Где же твой голос, Татьяна?..»

Он взял домбру, пытаясь вспомнить напев.

Двухструнная домбра недавно еще была говорливой и послушной. Теперь она — как конь в путах. Звуки вразброд. Нет недавно найденной песни. Забыта… Слушая ответ Сарсеке, Абай долго ищет этот напев. Но ему как будто нет возврата, он ускользает… Абай отложил домбру.

Сарсеке огорченно говорил:

— Снова ты украл мой скот, Турсун. Снова ты. Со зла, в отместку за то, что я гнался за собственным скотом и разыскал его у тебя!

— Слепой цепляется за нащупанное однажды, — отвечал Турсун. — Что же, в степи нет людей, кроме меня, и скота, кроме твоего? Не только в тот четверг — за весь месяц хоть раз садился я на коня?

Они спорили теперь громко, быстро отвечая друг другу. Абай слушал их молча, болезненно морщась, и потом, нахмурив брови, сказал:

— Шли бы вы для разбора к кому другому… Попросили бы Акылбая, он ваш сосед, легче узнал бы истину…

Но на это ни Турсун, ни Сарсеке не были согласны. «Да или нет? Чист или грязен? Нам достаточно вашего решения», — настаивали они.

Тогда Абай резко обратился к Турсуну.

— Скажи правду! Умри, но скажи: взял ты его скот или нет?

Он гневно уставился на Турсуна. Тот не смутился.

— Абай-ага, я дал клятву умереть перед тобой с правдой на устах! Пусть я вор, но и у вора есть честь. Вот моя истина: на этот раз я не виновен! — сказал он отчетливо и при этом, заломив верх свой шапки назад, открыл лицо и в упор взглянул на Абая.

Абай долго, пристально смотрел на него, думая про себя: «Пусть он вор, но это лицо — лицо истины». Слова Турсуна его поколебали.

Абай решил:

— Да, он говорит правду. У него нет твоего скота, Сарсеке. Ищи у другого!

Турсун поправил шапку. Ни он, ни Сарсеке не сказали больше ни слова. Сарсеке опустил голову. Абай сказал обоим:

— Ну, ваша тяжба кончена. Пить и есть будете в комнате для гостей, вас сейчас туда проводят…

Он снова взялся за домбру и наклонился над письмом Татьяны.

Сарсеке и Турсун поднялись одновременно. Турсун, который при входе в комнату дал Сарсеке дорогу как человеку из дальнего рода, и сейчас также пропустил его в двери первым. Прежде чем войти в комнату для гостей, они должны были пройти темный коридор. Идя по нему, Турсун беззвучно засмеялся, — он умел так смеяться назаметно для других. Он был очень доволен собой.

В самом деле, ему удалось сделать очень ловкий ход. Осенью, когда он угнал трех коней этих уаков и, поленившись отвести их подальше, заколол у себя, — истцы притащили его к Абаю. Еще в самом начале разбора дела у него возник свой план, и, когда Абай спросил его: «Взял или нет? Скажи только правду!»—он немедля ответил: «Взял, вынеси приговор, я виновен». Никогда Абай не видел раньше вора, сознающегося так откровенно, и объявил истцам:

— Считайте, что он дал мне крупную взятку. Эта взятка — его правда… Пусть вернет вам стоимость угнанных коней — и кончим на этом…

Турсун все это обмозговал и, переждав два месяца, снова угнал у того же Сарсеке пять лошадей и ловко сплавил их в ту же ночь. Никто не заметил налета, была суровая буранная ночь, она замела все следы. На этот раз Сарсеке мог только подозревать — ни улик, ни свидетелей не было. Турсун приехал к Абаю с твердым рашением: на этот раз отрицать все.

Его расчеты оправдались. Он выиграл не только у Сарсеке, но и у Абая. И теперь в темном коридоре он смеялся над этим.

Оставшись один, Абай, перебирая струны, опять принялся искать напев песни Татьяны, но он ускользал. В комнату вошли Кишкене-мулла, Мухамеджан и впереди них, неся в одной руке доску, а в другой — кожаную сумку с шариками тогыз-кумалака, любимой игры Абая, шел Корпебай, знаменитый игрок.

Засиживаясь в зимнее время подолгу дома, Абай зазывал к себе таких игроков в кумалаки, как Макишев Исмагул, Маркабай или Корпебай, и заставлял их гостить неделями. Сам Абай тоже слыл одним из сильнейших игроков в округе.

За четыре дня пребывания в ауле Корпебай ни разу не дал Абаю выиграть. Играли они с увлечением, с утреннего чая до обеда. Вчера Абай весь вечер просидел за книгой и работой, и игра прервалась.

Увидев Корпебая с тогыз-кумалаком, Абай понял, что заниматься уже не дадут, и закрыл Пушкина.

— Ну, раскладывай кумалаки, постараюсь тебе отомстить!..

Блестящие шарики из желтой кости один за другим с мерным треском падали в ямки доски. Правая рука Корпебая плыла над доской, его пальцы работали удивительно быстро. Трудно было понять, как из целой горсти они безошибочно отсчитывают по девяти шариков.

Противники приступили к игре. Первые привычные три-четыре хода они сделали быстро и взяли друг у друга по большой горсточке шариков. Теперь они дошли до отыгрывания туздуков.[53] Мухамеджан, Кишкене-мулла и Баймагамет следили за игрой.

Мухамеджан уже переписал все письмо Татьяны и проверил его с Кишкене-муллой. Рукопись Абая Мухамеджан сложил вчетверо и спрятал в карман, — Абай обычно не спрашивал своих черновиков, если они были переписаны и заучены, и поэтому Кокпай, Муха, а иногда Мухамеджан брали их себе.

Мухамеджан ждал случая, чтобы еще раз послушать напев. Но Абай, увлеченный игрой, и не думал возвращаться к нему. Видя это, певец достал из кармана свою запись, разложил ее на коленях и стал заучивать первые строки. Необыкновенный язык излияний Татьяны поразил его. Никогда еще не читал он у Абая таких стихов. «Вот это новость!» — думал Мухамеджан, наклонившись над рукописью.

Абай сидел молча, словно забыв Татьяну, целиком отдавшись борьбе с Корпебаем. Мухамеджан успел уже заучить первые строфы. Он взял домбру и, тихо перебирая струны, попробовал спеть про себя: «Я вам пишу, чего же боле». Он перебрал все известные ему напевы казахских песен, но ни одна не подошла к этим словам — ни знаменитая «Ак-Каин», ни «Топай-кок». Письмо так и не пелось. Раздосадованный, он посмотрел на Баймагамбета. Жигит, понимая, чего ждет Мухамеджан, решил осторожно отвлечь внимание Абая от игры.

— Не хочет, видно, Татьяна знаться с «Ак-Каин»? — спросил он молодого певца.

— Не только с «Ак-Каин»… Она не хочет запеть ни на один знакомый напев.

— Пожалуй, баит или жир[54] подошли бы лучше, — сказал Баймагамбет, искоса посмотрев на Абая.

Тот лишь теперь обратил на них внимание.

— Вы так думаете? Татьяна, видно, останется Татьяной! Она не Ак-Бала.[55] Она не пойдет за песней ни в Багдад, ни в Каир!..

Абай оживленно придвинулся к доске, быстро перекладывая шарики, и последним попал в среднюю ямку противника. Он радостно засмеялся, трясясь всем телом. Ошеломленный Корпебай нахмурил брови. Кишкене-мулла, следивший за игрой, воскликнул:

— Здорово! Туздук отменно хорош!

Действительно, Абаю после долгих расчетов удалось взять у мастера очень чувствительный туздук, и настроение его изменилось. Видя, чего хотят от него жигиты, он сказал:

— Ну, что ж, Баймагамбет, Татьяна отказывается спеть свою песню? Она, верно, думает: «Пусть споет за меня Мухамеджан, не буду же я сама петь всем казахам, — их так много!»

И Абай протянул руку к домбре. Мухамеджан, сгорая от нетерпения, уставился в свои листки.

Абай заиграл. Утренний, забытый было напев сразу зазвучал у него отчетливо и точно.

— Нет, оказывается, уже поет снова, — сказал Абай под переборы струн. — Так слушайте, что она говорит…

Он запел. Дверь комнаты открылась, вошла Айгерим и села около Абая, слушая пение.

На второй строфе Мухамеджан стал про себя подпевать Абаю. Но тут Корпебай, обходивший своими шариками задние ряды абаевских ямок, с треском бросил последний шарик во вторую из передних ямок Абая. Он взял самый значительный туздук — «туздук закабаленной шеи». Абай оборвал пение.

— Ой, что он натворил!..

Он передал домбру Мухамеджану и наклонился над кумалаками. Мухамеджан раздраженно шепнул Айгерим:

— Все испортил этот дохлый замухрышка!

— А что, дорогой, что он сделал? — спросила Айгерим и тоже посмотрела на игру.

— Я задержался в пути, чтобы заучить новую песню Абая-ага. А теперь, когда он потерял такой туздук, разве он обратит на нас внимание?

Баймагамбет сочувственно покачал головой. Айгерим повернулась к Мухамеджану:

— Попробуй все-таки спеть. Давно мы не слышали его голоса. — Да я с одного раза не запомнил ее, — сказал он и попытался подобрать напев на домбре. Абай, сделав свой очередной ход, протянул к ней руку. — Нет, неверно начинаешь, — заметил он и повторил напев несколько раз. И когда он отдал Мухамеджану домбру, тот теперь заиграл уверенно.

— Эге, видно, Татьяна познакомилась, с Мухамеджаном! — сказал Абай. — Тогда пой дальше!

Ободренный этим, Мухамеджан запел во весь свой высокий и чистый голос. Искоса поглядывая на свою запись, он пел теперь письмо Татьяны с самого начала.

Игра была забыта.

Абай, бледный, застыл с остановившимся взором, устремленным на вершину Акшокы. Он вспоминал Пушкина, которого сам недавно сравнивал с этими горами, и слушал как бы преклоненно, чувствуя озноб восторга. Его же слова и сложенный им самим напев теперь, в исполнении молодого, искусного и красивого певца, глубоко его взволновали.

Грустные слова Татьяны снова напомнили ему печальную судьбу Тогжан и Салтанат, мысль о которых не покидала его все эти дни. Сейчас с ней переплелась и мысль об Айгерим, самом близком друге, так отшатнувшемся от него… В этой чудной песне печали и упрека и она, казалось, нашла свой язык… Сейчас, когда он слушал эти стихи, их могучая правда раскрылась перед ним во всей своей силе. Русская девушка Татьяна грустила одной грустью с дочерьми казахов! Такие далекие и по языку и по обычаям, они оказались близки друг другу и мыслями, и судьбой, и пламенными чувствами… Какие истины может поведать казахской молодежи певец!..

Эта мысль озарила душу Абая радостным чувством, забыв об окружающих, внимая только песне, он был поглощен думами, увлекшими его так далеко. Все присутствующие также замерли в восхищенном внимании, не спуская глаз с певца. Песня была не казахская, но грусть ее была понятна всем. Она плыла, как мягкие, тихие волны.

Чтобы лучше запомнить заученный с таким трудом напев, Мухамеджан пел все письмо до конца. Его самого покорила побеждающая и захватывающая сила этих стихов. Впервые узнав о Татьяне, он в пении постиг ее душу.

Закончив пение, он не сдержался:

— Какая покоряющая сила любви!.. Кто же дал ей такие слова?

Вопрос этот занимал и остальных, все ждали ответа Абая, но тут вмешался говорливый Кишкене-мулла:

— Это же написал ей Фошкин! Мухамеджан раздраженно оборвал его:

— Помолчите, мулла… Фошкин! Даже имя называет не так!

— А как же? Я говорю правильно.

— По-моему, Абай-ага называл его Пошкин… Верно, Абай-ага?

Абай рассказал друзьям про жизнь и смерть Пушкина, потом снова вернулся к письму Татьяны. Просматривая запись Мухамеджана и в раздумье исправляя отдельные места, он заметил:

— Да, Пушкин сумел дать высказаться этому сердцу… По правде говоря, такого акына не видели и вы, дети казаха, не видел еще и весь мусульманский мир!.:

— Бедная девушка в самом деле трогательно излила свое горе, — сказал Баймагамбет.

Корпебай наклонился было над доской, но Мухамеджан как бы нечаянно сдвинул ее коленом в сторону и обратился к Абаю.

— Но справедливо ли, Абай-ага, такое признание Татьяны оставить без ответа? Не лучше ли будет, если жигит ответит ей?

Баймагамбет поддержал его. Абай отвечал задумчиво:

— Вы, пожалуй, правы… Придется послушать и Онегина, — и, помолчав, добавил усмехнувшись: — Но как же быть?.. Он ведь недостойный, а?

И он придвинул к себе Пушкина.

Пообедав у Абая, Мухамеджан в тот же день уехал в Семипалатинск.

Весь вечер Абай сидел над Пушкиным. Этот день был первым днем, по-настоящему сроднившим Абая с Пушкиным: он читал теперь пушкинские стихи не глазами читателя, а седцем поэта. Перед ужином, закрывая книгу, Абай сказал вслух:

— Ты раскрыл мне глаза на мир, дорогой Евгений Петрович… Теперь перекочевывает моя Кааба, и запад становится востоком, а восток стал западом для меня… И пусть же будет так!

После ужина домашние не расходились и, как всегда, ждали рассказов Абая. Проведший весь этот вечер в думах, далеко от родной семьи, Абай, видя теперь рядом Айгерим и друзей и особенно своего любимца — сказочника Баймагамбета, решил рассказать им что-нибудь.

И до глубокой ночи он рассказывал друзьям прочитанный им роман.

2

На западной окраине Семипалатинска в доме Танжарыка, мелкого торговца, сошлась вечером молодежь.

У Танжарыка снимал комнату молодой жигит Кисатай, один из родственников Абая. Кисатай не забывал привычек аула, любил гостей и, хотя сам был молчалив и застенчив, всегда собирал вокруг себя людей.

Сегодняшними гостями были близкие родственники и ученики Абая. Как бы возглавляя общество, на почетном месте сидел горбоносый Кокпай, ставший известным акыном и певцом, славившимся могучим голосом. Там, где отсутствовал Абай, он любил поговорить, перехваливая то, что ему нравится, и беспощадно высмеивая то, что ему не по вкусу, Он был прекрасным рассказчиком и умел веселить компанию.

Другим почетным гостем был Шубар, племянник Абая. Потеряв на последних выборах должность волостного, он решил приобрести известность как акын и певец. Честолюбивый и тщеславный, он завидовал все растущей славе Абая-поэта и в кругу молодых акынов держал себя так, будто ему принадлежало первое место. Одевался он тщательно, холил себя, золотая цепь недавно купленных золотых же часов блестела у него на жилете. Поглаживая густую черную бороду, он говорил сдержанно и значительно, в особенности в отсутствие Абая, считая себя много выше остальных казахов.

Здесь был и любимый сын Абая — Магаш, которого звали теперь уже полным именем: Магавья. Ему не исполнилось еще шестнадцати лет, он был юношески худощав, с нежным, несколько бледным лицом, открытым лбом, тонким прямым носом. Среди других он выделялся не только приятной наружностью и изяществом, в нем чувствовался образованный человек. Несмотря на молодость, он держал себя непринужденно и говорил смело. С ним вместе пришел известный певец Муха. Он был высок, прекрасно сложен, голос его был звучен, — оценив этот голос и умение играть на домбре и на скрипке, Абай года два назад взял его в жигиты к Магашу и сделал из него всеми признанного певца. Рядом сидел Исхак, сын Ирсая. Он силен в другом; если Кокпай и Муха были отличными знатоками казахских народных сказаний и исторических поэм, то Исхак, отчасти с помощью Абая, отчасти самостоятельно, изучил арабский и персидский эпос — «Жамшид». «Бахтажар», «Рустем», «Тысячу и одну ночь».

Молодежь собралась ночевать у Кисатая, отправив возниц по домам. В разгар беседы открылась настежь дверь и появился, клокоча в руках жигита, пузатый самовар, а за ним — полная и румяно-белая жена Танжарыка со скатертью. Гости, удобно расположившиеся на мягких корпе и подушках, разбросанных по полу просторной комнаты, подобрали ноги калачиком, освобождая место самовару. Пока накрывали низкий круглый стол, Кисатай достал из шкафа коньяк и зубровку. На столе вместе со сластями появились тарелки казы и куски вкусной конины. Исхак развеселился:

— Это умно, Кисатай! Что же ждать, пока там сварится мясо?

Гости, рассевшись вокруг стола, продолжали рассказывать всякую веселую быль и небыль; немало было острот и шуток друг над другом. Шумный вечер напомнил Шубару, как любит Абай такие сборища молодежи.

— Напрасно не приехал нынче Абай-ага, — пожалел он, но Кокпай тут же возразил:

— Пусть лучше сидит дома, похоже, что он взялся за книги и за стихи.

Шубар насмешливо взглянул на него.

— Ну, дорогой мой, если этот чинар будет все цвести, боюсь, наши стихи совсем засохнут, — сказал он, намекая на то, что у многих молодых акынов не хватает смелости соревноваться с Абаем. В глубине души он просто завидовал Абаю.

— Если так, нам остается ждать, когда расцветут наши собственные стихи, — сказал Магавья смеясь.

Шубар покачал головой с шутливым огорчением.

— А как ты угадаешь их расцвет? Вот я написал сегиз-аяк,[56] по-моему очень хороший. Показал Абаю, он посмотрел и говорит, что сегиз-аяк совсем не так пишется…

Кокпай тоже пожаловался:

— Он было дал мне для моей поэмы стихи про коня — «Шокпардай кекили бар»,[57] — пусть, говорит, у твоего Наурызбая будет золотой конь!.. А потом подумал, подумал — да и взял обратно: не жирен ли, мол, будет конь?..

Про этот случай друзья слышали впервые. Рассказ вызвал общий смех. Магавья повернулся к Кокпаю:

— Тебе пора уж привыкнуть, Коке: вспомни, как он взял назад все свои стихи!..

Акыны опять расхохотались. Все знали, что Абай долго выдавал свои стихи за стихи Кокпая, и только год назад, написав «Знойное лето», решился наконец поставить под ним свое имя. Чтобы вознаградить Кокпая, Абай сказал ему: «Возьми себе рыжую кобылу, а стихи свои я возьму сам».

— Кобылу я зарезал для вас же, вспомните — сала было на два пальца!.. В тот день я сказал себе: пусть он берет себе свои стихи, зато я всласть наелся! — сказал Кокпай, вызывая хохот окружающих.

— И знаете, — продолжал он, — когда я недавно рассказал это Абаю, он ответил мне, подмигнув: «Когда генерал, покоривший Ташкент, вступал в город с войсками под громкий барабанный бой, один курильщик опиума сказал: «Пусть он берет себе Ташкент, зато какая у нас теперь чудесная музыка!» Ты подобен этому курильщику опиума, Коке…»

Общий хохот прервал его, даже жена Танжарыка, до этого молчавшая, покатилась со смеху. В самый разгар веселья открылась дверь и вошел еще один гость. В руках его была камча, усы заиндевели, одежда промерзла — было видно, что он прямо с дороги.

— Ассалаумалейкум! — громко приветствовал он с порога.

Собравшиеся приняли нового гостя не очень приветливо; перестав смеяться, они молча разглядывали его.

— Э, ты — Мухамеджан, что ли? — воскликнул, просияв, Исхак. Обрадовались и остальные.

Мухамеджан приехал в этот дом прямо из аула. Отвечая на расспросы, он снял зимние сапоги, оставшись в ичигах, скинул верхнюю одежду и очистил усы от примерзшего льда. Все наперебой приглашали его занять почетное место.

— Да, уж сегодня позвольте мне занять место между Муха и Кокпаем, — значительно и загадочно сказал он.

Муха уступил ему место, передвинувшись ниже. Кокпай оглядывал молодого певца с каким-то мутным подозрением. Не было никакого сомнения в том, что Мухамеджан считает себя выше всех сидящих здесь акынов. Кокпай сам порой признавал, что если бы Мухамеджан не был так беден и не кичился при этом своим происхождением из рода Иргизбай, — при хорошем воспитании он дал бы мастерские вещи. Но сегодня он был что-то слишком самоуверен. Поэтому, не дав ему спокойно усесться, Кокпай съязвил:

— А мы-то думали — кто это идет, скрипя сапогами? Оказывается, всего-навсего — аул!

— А если аул так плох, зачем же ты убежал в него, оставив божий дом? — тотчас отбился Мухамеджан, намекая на то, что Кокпай учился в медресе, чтобы стать муллой. Молодежь оценила ответ дружным смехом. Мухамеджан продолжал: —Ты аул не обижай! И в ауле есть бесценный клад…

— О каком кладе ты говоришь? — встревожился Кокпай.

— Узнаешь… Дай хоть спокойно напиться чаю, — ответил Мухамеджан, свысока глядя на остальных, и умолк, принявшись за еду.

Остальные, уже насытившиеся, продолжали прерванные приходом Мухамеджана шутки и рассказы. Шубар предложил перейти к песням:

— Пусть старшие начнут, тогда другие не будут так стесняться! Ну, Коке, вспомни состязание твоего Наурызбая с девушкой из рода Тлеукабах!..

Кокпай не спеша откашлялся и в полный голос спел сочиненную им этой зимой песню. Потом Магавья подбил Шубара исполнить его сегиз-аяк. Шубар не счел уместным петь сам: за него спел его жигит, плешивый Орумбек.

Мухамеджан, проголодавшийся и замерзший, спокойно уплетал казы, отогревался чаем и как будто совершенно не слушал песен. На вопрос Исхака, был ли он в ауле Абая, он ответил односложно:

— Был… Абай здоров… Шлет привет…

Напившись чаю, он отодвинулся от стола. Теперь в комнате раздавался звучный голос Муха, певшего «Топай-кок». Когда Муха закончил песню, Мухамеджан, не дожидаясь, пока его будут просить, сам потянулся к нему за домброй. Настроив ее по-своему, он сказал с усмешкой:

— Сколько знаменитых акынов собралось, а голосят: «Жеребенок худ, а стригун жирен…» Нет, уж если слушать песню, так достойную! Слова должны быть вот какие!..

И он запел, сразу приковав к себе внимание всех.

Это были чудесно-грустные слова Татьяны. Гости притихли и, не шевелясь, следили за каждым словом песни. Мухамеджан умел как-то особенно выразительно и ясно передавать смысл того, о чем он пел. Вначале слушатели все же не могли понять — какую песню они слушают, казахскую или русскую? Одно было ясно: новая песня, прекрасная и грустная, говорит о глубоких чувствах. Особенно очаровывал ее язык. Молодые акыны как будто впервые поняли, как нужно петь о любви. Такую искреннюю грусть, такую нежность они постигали впервые. Стихи захватили всех. Какое в них волнующее чувство, какая сдержанная гордость! Как будто теплое нежное сердце заговорило этой песней и льет перед людьми слезы из самой своей чистой глубины!..

Глядя на разрумянившегося Мухамеджана, Исхак, взволнованный песней, воскликнул:

— Да будет благословенно горло твое!..

Такой возглас мог бы вызвать общий смех, но сейчас никто и не улыбнулся.

Певец пропел письмо Татьяны до конца, потом, вздохнув, стал вытирать со лба пот. Все в комнате молчали.

Кокпай и Шубар были бледны и нахмурены. Они даже не смотрели на Мухамеджана, будто боясь прочесть на его лице подтверждение своей догадки. Недаром Кокпай предчувствовал, что Мухамеджан нынче всех чем-то поразит. «Не зря, оказывается, держался он так высокомерно», — думал он и не находил в себе мужества спросить, что за песню спел Мухамеджан. То же чувствовали и остальные акыны.

Тишину нарушил Магавья. С любовью глядя на молодого певца, он спросил.

— Ну, скажи нам теперь — откуда эта песня?

Шубар и Кокпай с тревогой подняли глаза на Мухамеджана. Тот не заставил ждать. Он вытащил из кармана письмо, написанное Кишкене-муллой, и развернул рукопись Абая.

— Стихи эти — большого русского акына Пушкина. Это письмо девушки по имени Татьяна жигиту, в которого она влюблена. Абай-ага только что перевел стихи на казахский язык и сам сочинил к ним музыку.

Шубар весь просветлел и шумно вздохнул:

— Уф!.. Легче стало на душе… Я трепетал: вдруг он скажет, что сочинил сам!

Облегченно вздохнул и Кокпай:

— Ой, спасибо!.. Ну что, если бы такие красивые слова, такую прекрасную музыку сочинил ты? Как бы я стал состязаться с тобой?.. Чуть было не лишил меня счастья!.. Спасибо тебе, Мухамеджан, большое спасибо!..

Остальные дружно засмеялись. Мухамеджан передал Кокпаю письмо и рукопись Абая и вышел на улицу, вспомнив про своего гнедого.

Поставив в конюшню продрогшего коня, Мухамеджан вернулся в комнату и с улыбкой остановился на пороге.

Лампа, стоявшая раньше на печке, была теперь на столе. Все акыны, вооружившись карандашом и бумагой, наклонились над столом, переписывая стихи Абая.

Мухамеджан молча постоял у дверей, потом засмеялся:

— Э, все они превратились в писарей, переписывающих мой приказ!.. Ну, Пушкин, да будет счастлив твой дух!

Акыны тоже рассмеялись, но, для остроумного ответа у них не было времени. Переписав стихи, они занялись заучиванием новой песни. Те, кому трудно давался напев, учились у Мухамеджана, повторяя за ним. Когда далеко за полночь акыны собрались наконец спать, они все уже знали письмо Татьяны.

Через два дня Муха был приглашен на свадебную вечеринку в племя Уак. На этой свадьбе впервые перед большим собранием — перед женихом и сватами, перед девушками, перед стариками и молодежью — прозвучало в устах известного певца письмо Татьяны, волнуя слушателей печальным напевом и искренностью чувства. Когда Муха закончил пение, старик, слушавший не мигая, сказал певцу:

— Живи долго, лебедь мой… Ты расплавил всю мою душу… Скажи теперь, кто создал эту песню?

— Был давным-давно русский акын Пушкин, такой же, как я. Слова песни — его. А по-казахски их пересказал Абай…

И Кокпай, и Исхак, и Мухамеджан, и другие мастера на сборах, на вечерах пели только письмо Татьяны.

Перед отъездом из города Кокпай зашел к Михайлову. Взяв у него письмо для Абая, он сообщил о новостях, волновавших акынов — друзей Абая. Он рассказал о новой песне. Когда Михайлов услышал о том, что Абай переводит Пушкина и закончил уже перевод письма Татьяны, он оживился, придвинулся к Кокпаю и засыпал его вопросами:

— Как? Ибрагим Кунанбаевич заставил Татьяну заговорить на казахском языке? Ну и как получилось? Прочитайте мне! Только не торопитесь!

Он взял у Кокпая его тымак и камчу и положил на стол.

— Ну, Кокпай, читайте!

Но тот снова удивил Михайлова:

— Читать я не могу, это песня. Мы уже назвали ее «Песней Татьяны» и часто распеваем на вечеринках в Семипалатинске.

— Песня? — переспросил Михайлов. — А музыка чья?

— Тоже Абая-ага.

— Ну, спойте тогда!

И Кокпай запел письмо Татьяны, не спуская глаз с лица Михайлова и следя за впечатлением.

Михайлов уже порядочно разбирался в казахском языке. Кроме того, он по природе был музыкален и в детстве учился музыке. К концу пения Кокпая Михайлов уже запомнил мелодию и подпевал сам. И когда Кокпай замолчал, он вскочил, оживленно охватил его плечи и поблагодарил за пение.

— Передайте мой привет и поздравление Ибрагиму Кунанбаевичу! — быстро заговорил он. — Это хорошо, очень хорошо!.. Ваш народ должен знать Пушкина! Не только знать, но и любить!

И так же возбужденно он начал говорить о переводе:

— Мне кажется, Ибрагим Кунанбаевич кое-где неточно перевел пушкинский текст… По-моему, у него и строки по размеру не всегда совпадают с пушкинскими, насколько я уловил из вашего пения… Но я не считаю это недостатком… Кроме того, я ведь не все понял, а не поняв достоинств, говорить о недостатках было бы несправедливо… Я спрошу у вас: хороша ли эта песня? Как она звучит по-казахски? Хороший ли, по-вашему, поэт Пушкин, если судить по письму Татьяны?

Он особенно подчеркнул последний вопрос. Кокпай ответил восторженно:

— О, Евгений Петрович, если Пушкин во всех своих стихах таков, как в этом письме, скажу прямо: мы, казахские акыны, дарования такой силы еще не встречали! Я читал арабских и персидских поэтов — ни одного из них я не смогу поставить рядом с Пушкиным! А перевод Абая-ага внушает только истинную любовь к Пушкину и его стихам!..

Этот отзыв подтвердил Михайлову, что перевод Абая был настоящим поэтическим переводом. И он снова повторил свой горячий сердечный привет Абаю.

3

На зимовке в Акшокы собралось много народу. Просторная комната, где Абай сидел после вечернего чая, уже не вмещала собравшихся: помимо гостей, сюда сошлись почти все жители зимовки. Айгерим, Ербол и Баймагамбет, а также молодой племянник Абая, Какитай. с сердечным гостеприимством принимали и рассаживали людей по комнатам. Старый Байторы, Буркитбай и Байкадам пришли сюда со своими старухами и разместились подле Абая. Какитай, звонкоголосый жигит, сам распоряжался во всех комнатах. Приветливый, улыбающийся, он всюду вносил молодое оживление и своим громким высоким голосом, и добродушной шуткой, и теплым словом. Сегодня он старался быть особенно внимательным к гостям Абая.

Какитай был сыном Исхака, брата Абая, ровесником Магавьи. Сверстники и близкие родные, оба юноши были связаны искренней дружбой. Они старались не разлучаться друг с другом, и последние два года Какитай жил у Абая как приемный сын.

Широкое открытое лицо, большие, чуть навыкате, глаза, блестящие и острые, слегка вздернутый короткий нос — все придавало Какитаю то жизнерадостное выражение, которое свойственно самой ранней молодости. Пухлые румяные губы дышали юношеской свежестью — любая красавица позавидовала бы им. Абаю особенно нравились в нем прозрачная чистота взгляда и громкий молодой голос, в котором, казалось, звучала вся его душа, искренняя и прямая. Абай любил племянника не меньше, чем своих родных сыновей, Абиша и Магаша, и не отпускал его к родителям.

— Чему доброму ты там научишься? — сказал он однажды Какитаю. — А здесь я для тебя и отец и мать. Живи и расти, родной мой, подле меня!

Абая радовало, что и Какитаю хорошо около него.

Была и еще одна причина, по которой Абай с особенной любовью относился к своему племяннику. Какитай не имел возможности поехать учиться в город, но, живя у Абая, все последние годы с необыкновенным усердием изучал русский язык и часами, не отрываясь, сидел за русскими книгами. Он учился у Абиша, когда тот приезжал на летние каникулы. Магавья тоже делился с ним своими знаниями. Наконец, не расставаясь ни дома, ни в поездках с самим Абаем, юноша пользовался каждым случаем, чтобы поговорить с дядей, расспросить его о прочитанных им русских книгах. Какитай всеми своими повадками и поведением напоминал теперь воспитанника городского училища, и любые школьные наставники могли бы гордиться таким питомцем.

Сегодня Какитай своей непосредственностью и юношеским пылом заражал всех гостей Абая. Молодежь, видя свободные, искренние отношения между племянником и дядей, доверчиво и сердечно обращалась к Абаю.

Молодые акыны и певцы всегда были самыми дорогими друзьями Абая. Они только что вернулись в степь после нескольких месяцев жизни в Семипалатинске. На санях и на верховых лошадях шумной толпой приехали Кокпай, Муха, Магавья, сын Ирсая — Исхак, Шубар и Мухамеджан. В эту зиму они долго не видались с Абаем. Обычно все последние годы они приезжали сюда, как в свой родной дом, жили подолгу, проводя дни и ночи в тесном веселом кружке.

Едва успев приехать, даже не выпив чаю, они обратились к Абаю и к Айгерим с просьбой. От имени приехавших заговорил Кокпай:

— Абай-ага, нынче все мы прослыли в Семипалатинске как акыны и певцы. Не было семейного праздника ни по эту, ни по ту сторону Иртыша, будь то проводы невесты, или приезд жениха, или еще какое веселье, куда горожане не старались бы заполучить хоть одного из нас! Не совру, если скажу, что нас прямо на руках носили, на вес золота ценили! А всему причина — ваши песни. Их везде любят!.. Особенно «Песню Татьяны», которую Мухамеджан к нам привез… Мы вернулись к вам в аул любимыми и повсюду признанными мастерами песни, так разрешите нам всем сейчас пройти перед вашим судом! Оцените наше искусство!

Абай, одобрительно улыбаясь, выслушал Кокпая.

— Ну, если каждый из вас мог один радовать целое сборище, то что же будет в Акшокы, когда вы съехались все? Пойте, пойте! Веселитесь! — ответил он ласково и тут же шутливо распорядился — Айгерим, Какитай, Ербол, Баймагамбет! Поручаю вам четверым собрать сюда весь аул! Зовите и стариков и молодых — будем слушать всем аулом! Видите, как они загордились! Им недостаточно, если мы вчетвером или впятером будем слушать их! Когда хозяин подаст мало угощения, говорят: «Гость язык себе перекусил». Так смотрите, чтобы наши гости языка не перекусили: соберите народу побольше, — наши певцы иначе не могут! Устройте соседей во всех комнатах, угостите их как следует!..

И вот чуть начало смеркаться, Какитай и Баймагамбет вдвоем обегали всех соседей, собирая слушателей.

Пока народ собирался, Кокпай рассказывал Абаю о городских новостях. Абай стал расспрашивать о Михайлове. Кокпай сообщил, что неоднократно бывал у его друга, подробно рассказал о том, как тот принял «Песню Татьяны», и передал его поздравление Абаю. Он не скрыл и сомнений Михайлова.

Абай поразился остроте наблюдений своего русского друга.

— А ведь Михайлов прав, жигиты! — признался он. — Мой перевод Пушкина не всегда совпадает с подлинником. И Михайлов почувствовал верно… Да, в сердечные излияния Татьяны иногда вливались и мои личные чувства…

Он думал о внесенных им в перевод строчках, рожденных воспоминаниями, согретых жаром его собственного сердца. Но ему не хотелось распространяться об этом, и он снова заговорил о своем друге.

— Удивительно, до чего чуток Михайлов! Ведь он недостаточно знает казахский язык — и все же так точно подметил сомнительные стороны моего перевода… Каким зорким делает человека просвещение! Михайлов издали разглядел меня гораздо лучше, чем любой казах, сидящий рядом со мной!..

Этот вечер превратился в вечер песен и стихов, в вечер жарких состязаний акынов и певцов. Соседи-старики разошлись по домам лишь после полуночи. В просторной комнате остались только гости и самые близкие Абая. Сегодня не было, кажется, ни одного человека — ни из гостей, ни из жителей аула, — который-не принимал бы участия в песнях. Молчали только Абай и Айгерим. То Муха, Мухамеджан и Кокпай пели поодиночке, то Магавья и Какитай затягивали песню вдвоем, то Исхак, Ербол и Баймагамбет хором присоединялись к звонким голосам Шубара и Кокпая. По просьбе Абая и Айгерим лучшие из певцов исполняли их любимые песни — старинные и новые напевы. Наконец Кокпай и Мухамеджан попросили, чтобы спела сама Айгерим.

— Мы так давно не слышали ее пения! Почему она не поет?.. Неужели и сегодня мы хоть разок не послушаем ее, Абай-ага? — упрашивали они.

Абай взглянул на Айгерим: ее красота ослепляла, как расплавленное золото; казалось, что белизна и нежный румянец ее кожи излучали какой-то необыкновенный свет. Абай, как зачарованный, не мог оторвать от нее взгляда.

— Айгерим давно перестала петь… Разве ее упросишь?..

В его голосе звучали нескрываемая грусть и сожаление.

Все последние годы их жизнь держалась только на взаимном уважении: искренняя радость, наполнявшая когда-то их дни, не возвращалась больше. Холодный ком залег у них в груди. А любовь — любовь жила только в обычных внешних проявлениях, которые не переходили определившихся за эти годы границ: их души уже не раскрывались, как в счастливые первые годы.

В голосе Абая сейчас слышался ласковый упрек — отзвук далеких, почти позабытых дней… Сердце Айгерим дрогнуло. Она быстро повернулась к Абаю. Ее глаза глубоко темнели — они и спрашивали и ожидали.

Айгерим улыбнулась, и ее тихий ответ прозвучал, как слова песни:

— Разве дело во мне, Абай? Не вы ли сами перестали слушать меня?

— Так спой нам, Айгерим! — со страстной мольбой в голосе сказал Абай. — Обо всем спой! Обо всем, что узнала, что запомнила! Новое спой, прошу тебя! Ведь оно есть у тебя!

Абай не хотел больше слушать никого, кроме Айгерим.

Чуть заметным движением бровей она сделала знак Ерболу. Этот чуткий друг понимал все. Взяв домбру из рук Муха, он подсел к Айгерим и заиграл «Песню Татьяны». Тонкой серебряной нитью заструилась песня, наполнив весь дом своими чистыми переливами. При первых же звуках голоса молодой женщины все замерли.

Абай был поражен: Айгерим никогда не пела при нем «Письма Татьяны», да и он сам ни разу не просил ее об этом. А между тем она, оказывается, знала каждое слово и каждый едва уловимый оттенок напева. Она и к Ерболу обратилась потому, что он один слышал, как она пела эти слова: не раз, оставаясь с ним вдвоем, Айгерим просила его наигрывать ей мелодию и тихо, вполголоса повторяла песню.

И теперь, когда она впервые при всех запела эти строки, у жигитов-певцов невольно мелькнула одна мысль: «Это же и есть сама Татьяна, Татьяна, сияющая красотой, охваченная страстью песни… Она, она…»

И они слушали затаив дыхание.

Абай внимал этой песне, и ему казалось, что она обладает необыкновенным свойством. Первый раз ее пел Мухамеджан в самый день ее создания, и тогда Абай с волнением прислушивался к своим же словам и напеву, вызывавшим в нем восторг. Сейчас он слушал ее второй раз — и с изумлением чувствовал, что снова поддается ее чарам. Зимой все певцы разъехались из Акшокы, так что Абай изредка слышал только мелодию песни, исполняемую кем-нибудь на домбре. Сейчас Айгерим вдохнула новую жизнь в слова Татьяны — и песня, обновленная и чудесная, возродилась перед своим же творцом.

Абаю казалось, что он обрел самого себя, — того Абая, который когда-то вот так же слушал свою любимую, не сводя с нее глаз, не смея перевести дыхания. Айгерим, как и прежде, вкладывала всю душу в каждое слово, в каждый новый перелив напева. Она не пела — она изливала глубоко затаенную грусть своего сердца. Это была уже не только Татьянина тайна: страстный шепот молитв и надежд вспыхнул жарким пламенем песни, рвался из груди самой Айгерим только к одному, единственному из всех — к Абаю.

Ты — мой супруг любимый,

Богом указанный мне,

Но меня не избрал ты другом,

Оставил одну во тьме…

Не грустный ли упрек покинутого друга доносят эти слова? Лицо Айгерим бледно, последние следы румянца сбежали с него, — певица точно охвачена волнами песни. Чистая, правдивая душа Айгерим наполняет своим трепетом каждое слово — и заповедная тайна раскрывается все яснее и прозрачнее. Забыв обо всех, она говорит только с Абаем: «В чем вина моя? И если есть она — ты ли не простишь ее? Ведь я — единственная твоя… Что же ты сам не приходишь ко мне, раскрыв душу свою? Найди прежние светлые дни, горячие дни… Найди меня…»

Казалось, Айгерим изнемогала от песни: и чувства, наполнявшие эти близкие ей слова, и грустные переливы мелодии отнимали последние силы ее души, сдавливали дыхание.

Никто не смел нарушить молчания. Абай сидел бледный, с широко раскрытыми глазами. Он чувствовал, как холодок дрожи пробегал по его телу. Вдруг он резко сдвинул брови, порывисто обнял Айгерим и покрыл поцелуями ее влажные глаза.

— Айгерим, бесценная моя, песней и слезами своими ты снова нашла меня! Чистая, искренняя — ты сама вернулась ко мне!.. Ведь это твоя душа изливалась в тоске Татьяны!..

Молодые друзья, окружавшие Абая, были глубоко взволнованы.

— О Татьяна, — дрогнувшим голосом сказал Кокпай, — в дочери казаха ты нашла себя! Еще не одной душе, затаившей в себе свою чистую тайну, ты дашь язык!

Ни Абай, ни Айгерим не могли больше разговаривать: слова излишни для сердца, отыскавшего друга. Пробужденная любовь не нуждается в словах и не терпит чужого взгляда.

Муха, Кокпай и другие жигиты поднялись и тихо разошлись. И едва закрылась дверь за последним из них, как Абай и Айгерим сомкнули жаркие объятия и слились в бесконечном поцелуе…

Песня развязала тяжелый узел, долгие годы стягивавший их души. Она снова соединила их, равных и равно вдохновенных; она не позволила ни изменить, ни потерять друг друга. Угасшее вспыхнуло, утерянное вернулось к ним с любовью и песней Татьяны…

Так в зиму тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года великий русский акын Пушкин впервые вступил в простор казахских степей, ведя за руку милую свою Татьяну. Он принес в эти просторы радость своих песен, а его Татьяна пришла как близкая, как родная всем — и научила молодые сердца казахов тому языку искреннего чувства, каким еще никто не говорил в казахской степи.

ЭПИЛОГ

Стихи и напевы, рожденные в Акшокы, переписанные, заученные наизусть, распространялись в песнях вокруг. Новое слово, хранившее в себе тайны сокровища, летело по степи, как тихий ветер Сары-Арка, медлительно и плавно веющий над ее просторами. Новые песни, никогда раньше не звучавшие в этих краях, летели на крыльях ветров, неся долгожданный ответ степям, вопрошавшим сквозь многовековую молчаливую дрему. Голос нового племени — они летели как вестники вешних дней. Не ушедшая зима породила их: они явились для наступающего лета с его новым цветением, с его возрождением. Эти песни звучали для тех, кто ищет новой жизни, новых просторов: для прозорливого ума, для чуткого сердца, для сильных и смелых, полных тревожных дум и готовых к борьбе…

Стихи и напевы, рожденные в Акшокы, переписанные, заученные наизусть, долетели в песнях до Ералы. Хасен и Садвокас, сироты, когда-то взятые Абаем в городскую школу, каждый вечер читают здесь вслух переписанные ими строки: и у колодца, и за аулом, и у костра. Даркембай и другие жатаки, старые и молодые, без конца заставляют их читать стихи Абая. Давний старый друг его Даркембай, понюхивая свой табак, придвигается поближе к юному грамотею и долго слушает его.

О казахи мои, мой бедный народ!

Жестким усом небритым прикрыл ты рот.

Зло — на левой щеке, на правой добро.

Где же правда — твой разум не разберет!..—

так начинает свои стихи печальник народа Абай, — и Даркембай видит перед собой его самого и верит ему. Грусть усталой старческой души сливается с печалью поэта.

Дандибай и Еренай просят прочесть их любимые стихи:

Хоть мы уже старцы, хоть мысли печальны,—

в нас жадность сильна.

Беда, коль пойдут наши дети за нами,—

судьба их страшна.

Не радость работы, а зависть и алчность

вселились в сердца.

Не подвиг нам важен, не труд нам приятен,

а мзда нам нужна.

&#12288;Старики оживляются. Такие песни, рожденные правдой жизни, метко бьющие по давним врагам и насильникам, особенно радуют их: что могут возразить на эти крылатые слова всякие такежаны, майбасары, уразбаи?.. Старики, прослушав, просят повторить еще раз. Им уже мало чтения, они требуют: «Пой!.. Пой, как песню!..»— и заставляют юношей хором петь слова Абая. Правдивые слова, внятно звучащие в молодом стройном хоре, восхищают стариков.

— Какие слова, как сказано!.. По всем шестидесяти двум жилам огнем пробегают! — восклицают они.

— Ни один сын казаха не скажет то, что говоришь ты, Абай!.. Так можешь сказать только ты, драгоценный мой, единственный золотой тополь в пустыне моей!.. В глухой равнине чутким рожденный!.. — говорит Даркембай. Он говорит эти горячие слова за всех слушателей, в молчании внимающих стихам Абая…

Стихи и напевы, рожденные в Акшокы, переписанные, заученные наизусть, поет как песню Мухамеджан.

Вчера весь вечер он провел в юрте Оспана, пел и читал. Чтобы послушать его, молодежь аула и все соседи-прислужники тесным кольцом облепили юрту снаружи и долго не расходились.

Улжан давно не видела Абая, материнское сердце ее тосковало. Она слушала стихи Абая, не замечая ни входящих в юрту, ни приезжающих гостей. Может быть, к ней, к матери, он и обращался с этими словами:

Вот я рядом с тобой, говорю с тобой снова,

Обновленной душою пойми обновленное слово…

Ее сын осуждал старых невежественных акынов, торговцев словом. Он, как плетью, хлестал тех, кто гонится за чинами:

Беспокойней Тобыкты нет на свете рода:

Хитрецы, дельцы, сутяги — вот отцы народа..

Улжан, удивленная и обрадованная, в глубоком молчании слушала стихи сына. Громкий, неудержимый смех Оспана, вдруг раздавшийся в юрте, словно разбудил ее.

Оспан по своей привычке слушал молча, не шевелясь. До сих пор он не вымолвил ни слова, не сказал, хорошо ли это или плохо. А сейчас он вдруг шумно расхохотался, указывая на Такежана и его друзей, сидевших с надутым видом за чашками кумыса.

— Вон, вон они сидят! — сквозь хохот повторял он. — Это о них сказано!.. В точности!.. «Беспокойней Тобыкты нет на свете рода: хитрецы, дельцы, сутяги — вот отцы народа!..»

Рядом с Такежаном сидели Жиренше и Уразбай. Только теперь взглянув на этих троих, Оспан понял смысл многих стихов Абая. Увидев, что и эти стихи и слова его обозлили их, Оспан рассмеялся еще громче. Теперь видно было, что он просто издевался над ними, вдруг превратившись в того неукротимого шалуна, каким был в детстве.

— Что с тобой, Оспан? Скалишь зубы, как мальчишка!.. — недовольно буркнул Жиренше. Но Оспан заговорил еще задорнее:

— Во всем Тобыкты больших сутяг, чем вы трое, — поищи — не сыщешь!.. Ведь вас-то Абай и бьет палкой по голове! Эй, Жиренше, сознайся честно, разве не правда?

Улжан сочувственно усмехнулась, а потом погрузилась в свои думы. Когда Мухамеджан, прочитав уже много стихов, замолчал, она сказала громко, с глубоким чувством:

— Абай с самого рожденья, еще крошкой, всегда был для меня одним миром, а вся остальная родня — другим. Золотой мой слиток, утешение моей материнской души… С ним родилась моя материнская надежда… Вижу теперь: моя надежда выросла в прекрасный тополь! Я могу умереть спокойно: у такой матери, как я, больше не может быть желаний. Великий господь, молюсь тебе, молюсь благодарной молитвой!..

В юрте стояла тишина, все слушали эти горячие материнские слова. Но после молчания заговорил Такежан. Недавнее раздражение против Оспана вспыхнуло в нем с новой силой. Не понравились ему и слова матери.

— Ой, апа! — повернулся он к Улжан. — Ты всю свою душу только одному сыну отдала, потому так и говоришь… А разве нет и без него благородных и красноречивых казахов? И не они ли сказали когда-то: «Слава богу, из нашего рода не вышло ни одного баксы и ни одного акына?» Чему же ты радуешься? Что твой сын стал настоящим баксы — заклинателем?

Жиренше с хитрым злорадством ущипнул ногу Уразбая, лукаво поглядывая на Улжан и беззвучно смеясь. Улжан всю передернуло от слов Такежана. Она быстро повернулась к нему:

— Э, ты, наверное, думаешь: оба, мол мы щенки одной и той же матери! Но я-то вижу, что один из этих щенков растет сказочным Кумаем,[58] а другой — ублюдком-дворняжкой!.. Говори, что хочешь, но помни, что ты для меня и ногтя Абая не стоишь!

Гнев охватил старую мать. Ее широкое, круглое лицо, покрытое глубокой сетью морщин было очень бледно. В глазах, полных слез, краснели кровавые прожилки, и взгляд ее, устремленный на Такежана, был полон презрения.

Такежан схватил камчу и тымак.

— Пошли!.. Уйдем отсюда! — коротко сказал он Жиренше и Уразбаю и буркнул на ходу — Довольно… Наслушались мать, выжившую из ума… И он быстро зашагал к двери.

Стихи и напевы, рожденные в Акшокы, переписанные, заученные наизусть, однажды вечером дошли до слуха Кунанбая в час его бессонницы. Они долетели до него, настойчиво звуча из тьмы ночи. Старик ворочался на постели и все не мог избавиться от этой песни, такой упорной, назойливой. Одни и те же слова повторялись снова и снова.

Это пел Карипжан, ночной сторож аула. Он недавно услыхал песню и, не сумев с одного раза запомнить ее до конца, пел только начало, бесконечно повторяя понравившиеся ему строки:

Ты — мой супруг любимый.

Богом указанный мне…

Слова, звучащие вдали, доходили до слуха Кунанбая совсем по-другому: «гонимый, богом наказанный…» — слышалось ему. Бессильный уйти от песни, от ее неразборчивых, но таких грозных слов, Кунанбай разбудил Нурганым:

— Калмак, ой, калмак! — звал он жену. — Что там сторож твердит: «Богом гонимый, богом наказанный?» Кого он там клянет? Узнай! Но Нурганым знала песню.

— Он поет: «Ты — мой супруг любимый, богом указанный мне», — ответила она. — Говорят, это Абай написал… Эту песню все поют…

Кунанбай громко вздохнул и отвернулся к стене.

— Пусть замолчит, не воет. Уйми! Он покой мой отнял! — приказал он и затих.

Ты — мой супруг любимый,

Богом указанный мне…

Но меня не избрал ты другом.

Оставил одну во тьме…

Когда Нурганым впервые услышала эти слова Татьяны, ею овладела неодолимая грусть. Эти слова выражали и ее собственную тоску. С первых же звуков песни ей вспомнился Базаралы, друг, покинувший ее в печали, — и она замкнулась в своем невысказанном горе…

Подозвав к юрте сторожа, Нурганым сказала ему совсем не то, что приказал Кунанбай:

— Пой свою песню на том краю, подальше отсюда… А будешь приближаться сюда, пой тихо… Твоя горячая песня старику душу жжет! Понимаешь ли ты, что песня твоя жарче пламени? Не нравится она здесь… — сказала она с тихим вздохом и ушла к себе.

Не сторожу — самой себе она высказала то, что крылось в тайниках ее души…

Стихи и напевы, рожденные в Акшокы, переписанные, заученные наизусть, плыли в песнях по бескрайним просторам, как тихий ветер Сары-Арки, медлительно и плавно веющий над степью. Они облетели все жайляу Тобыкты, дошли до кереев верховий, до уаков низовий, до племен Каракесек и Куандык, долетели и до найманов, населяющих долины Аягуз, горы Тарбагатая и Алтая…

Однажды вечером к крайней бедной юрте далекого большого аула подъехал жених с товарищем. Жигиты нищих аулов — оба они были одеты бедно, и невесту жених просватал себе в такой же обездоленной семье, как его собственная. Молдабек, жених, был певцом. Семья невесты позвала на скромную вечеринку молодую хозяйку аула, которую все любили и уважали. Тогжан пришла. В бедной юрте зазвучали песни. И вдруг, совсем неожиданно, Молдабек одну за другой начал петь: «Письмо Татьяны», «Ответ Онегина», «Второе слово Татьяны».

С первых звуков сердце Тогжан сказало: «Это Абай! Это мог сказать только Абай!..» Тогжан и не стала спрашивать ни о песне, ни о том, кто сложил эту исповедь сердца, взволнованного глубокими чувствами, изливавшего юную пачаль, раньше никогда так не звучавшую.

Когда Молдабек запел второе признание Татьяны, Тогжан потеряла самообладание. Давно не испытанное смятение охватило ее, волнение отразилось на прекрасном лице. Не ее ли это собственные слова?.. «Ведь я покорилась судьбе, хоть не хотела такой жизни… Я не отреклась ни от любви моей, ни от тоски по тебе, но нам нет возврата к прежнему счастью…» — говорит песня. Не эти ли слова говорила больному другу и она сама, Тогжан, глотая слезы?.. И вот они не забыты… Не угасло, не исчезло их искреннее пламя… Оно вспыхнуло вновь в такой сердечной, чистой песне! Неожиданный привет его души… Вся трепеща, она чувствовала, в какой огонь бросала ее эта песня. Весь долгий вечер она просидела, то пламенея, то изнемогая от холодного озноба. Беззвучно и часто капали нескончаемые слезы. А душа повторяла бесконечно и неустанно слова Татьяны…

В один из тихих летних вечеров на каменистом холме урочища Каска-Булак сидел Абай, прислушиваясь к вечернему дыханию аула. В это лето его маленький аул не откочевал на многолюдное жайляу: оставшись рядом с жатаками, Абай провел все лето в соседстве с ними.

Сегодня утром к Абаю приехало множество гостей — молодых акынов. Они привезли ему радостные вести: они рассказали ему, как любит народ его стихи, как широко разлетелись по степи его песни. На многолюдную Кояндинскую ярмарку съехались несколько племен. И всем запомнилось имя Абая. Везде говорили:

— Хороший человек в степи появился, имя его — Абай. У него особенные слова и наставления. Это мудрец, заступник народа, друг несчастных, враг насильников. Родился он в Тобыкты, но не для одних тобыктинцеп, он — сын всего народа. Будем же слушать речи его, запомним его наставления…

Кокпай, Муха, Мухамеджан, Магаш, Какитай привезли с жайляу эти вести Абаю. Радостные и восторженные, они столпились вокруг своего «ага-акына», друга и наставника, они гордятся его именем.

Абай с молчаливым удовлетворением слушал их рассказы. Теперь, оставив друвей в юрте, он вышел на холм побыть наедине со своими мыслями. Тайнами, скрытыми в его душе, он делился с вечерней красотой природы, сливаясь с нею.

Беспредельными просторами раскинулись перед ним степи Ералы, Ойкодыка, Корыка. Как огромен лик спокойного мира, пребывающего в вечерней тишине! Косые лучи солнца розовым светом озаряют эту ширь. Ровный мягкий свет разливается по этому блаженному в своем покое миру. Вдохновенный взор поэта видит перед собой уже не степь, а море — спокойную, тихую гладь водного простора.

По этому морю жизни плывет одинокий корабль. Подняв паруса, он уходит в неведомый, но чудесный, озаренный светом путь к неведомым, далеким берегам. На парусах его начертано: «Борьба и надежда». Корабль, поднявший на себе надежды народа, плывет к гавани, имя которой — Грядущее. Это корабль Абая прокладывает в мир широкий, прямой, уверенный путь.

Абай пристально смотрит с холма иа далекий темнеющий горизонт, взором мысли провожая корабль в желаное плаванье. Высоко над степью сидит на холме Абай, один со своим вдохновением. Впервые за всю жизнь он чувствует сейчас гордость. И на эту гордость он имеет право.

Но эта мысль сверкнула мгновенно промелькнувшим ликом радости. Сменив ее, о берег его души ударяет новая волна мыслей. Точно черные тучи набегают на него: надвигается другой лик — хмурый лик жестокой жизни. Он закрывает сияющую радость, надвигается властно и мрачно.

Впереди жизнь и борьба. И в этой борьбе — он один. Правда, у него есть сила и надежда. Его сила — это поэзия, его надежда — народ. Но эта надежда еще в беспробудном сне. А сила его — не останется ли она непонятной, неузнанной? Хватит ли у него терпения, хватит ли воли— воли, стойкой в одиночестве?

Он на вершине, на середине жизненного пути. А там позади, в пройденном, в прожитом, — чего больше: потерь или приобретений?.. Да, многого из того, что отошло от него, ему не жаль… Чужим ушел отец Кунанбай, чужим стал брат Такежан… И много еще таких такежанов стало врагами — один за другим отошли Жиренше и Уразбай… Ну что ж… Пусть оторвались, пусть ушли те, кому следовало уйти! Их еще будет немало. Лишь бы остался с ним народ, лишь бы остался в его руке светильник, освещающий его тропу к родному народу…

И он шепчет эти слова, как тайную клятву свою.

— Где же море? — словно пробудился он и окинул степь взглядом.

Теперь она не казалась ему морем: это была обычная безлюдная равнина, безмолвная равнина Ералы. На ней вдруг взвился клуб пыли… Еще… Еще… Пухлые облачка вспыхивают одно за другим… Что это может быть?

К Абаю подскакал всадник. Он подскакал сзади, и Абай только теперь заметил его. Загнанный конь его был весь в мыле сам всадник тяжело дышал. Это был гонец от жатаков Ералы, посланный Даркембаем, — юный Садвокас, тот самый, которого Абай когда-то отвез в школу. Садвокас заговорил дрожащим от гнева и обиды голосом:

— Глядите, Абай-ага, видите там клубы пыли? Это же разбой!.. Насильники напали на жалкие стада жатаков! Последних коней отбили и угоняют! Опять нас ограбили!..

Ни моря, ни мечты… Угасла даже малая радость, даже слабое утешение… Жизнь, с ее горькой правдой, с ее жестоклй борьбой снова властно звала Абая в схватку

[1] Корпе — ватное одеяло.

[2] Халфе — духовное лицо, наставник в медресе.

[3] Шакирд — ученик медресе.

[4] Кун — возмещение за убийство.

[5] Тымак — меховая шапка.

[6] Корим — красавица.

[7] Мазар — надгробный памятник, род высокого склепа, сложенного из саманных кирпичей.

[8] СарыАрка — степи Центрального Казахстана.

[9] Сал и сэри — профессиональные певцы и акыны, разъезжавшие по аулам в яркой разноцветной одежде.

[10] «Ж а м б а с — с ы й п а р» — «Обнимая, ласкает».

[11] Т а л а с — обвинитель, истец.

[12] Торгай — имя рода, означает: воробей.

[13] К о з ы — к о ш (буквально: перегон ягнят) — мера расстояния в степи, 5–6 километров.

[14] К у р д а с — сверстник. Дружба курдасов обуславливает более свободные и вольные отношения между ними и их семьями.

[15] По обычаю, сноха (келин) всегда первой кланяется всем родственникам. Почувствовав наступление старости, она в последний раз преклоняет колена у входа в родовую юрту мужа в обрядовом поклоне. С этого дня ей, как старухе, другие начинают кланяться первыми.

[16] Набор слов, звучащих как молитва из корана.

[17] Ш а х и д — погибший в религиозной войне.

[18] Сборники обрядовых правил.

[19] Шакша — табакерка, в которой носят жевательный табак — насыбай.

[20] Кенжем — малыш, меньшой в семье. По обычаю, сноха, вступившая в новую семью, дает свои имена новым родственникам.

[21] Расстояния в степи измеряются длиной пробега коней на байге (скачке) — «Бег жеребенка»— 5 км, «бег стригуна»— 8—10 км, «бег коня»— 20–35 км.

[22] М а х р а б — место в мечети, соотвествующее алтарю.

[23] С а х а б ы — сподвижники Магомета.

[24] Д а б ы л — маленький охотничий барабан.

[25] Ани — мать по-татарски, апа — по-казахски. Смысл этого выражения — старшая мать.

[26] Карагоз — черноглазая.

[27] Ш а б а р м а н — посыльный.

[28] Ояз — начальник; тентек-ояз — бешенный начальник.

[29] К о п — ж а т а к — множество жатаков.

[30] С а б а р м а н — мучитель, разбойник.

[31] С а у к е л е — головной убор невесты.

[32] Сал-домбра — щегольская домбра профессиональных певцов.

[33] Тогыз-кумалак (буквально девять шариков) — казахская игра, сходная с шашками.

[34] Кара — черный; шолак — куцый.

[35] Ш е г и р — сероглазый.

[36] Жанбаур — легендарный охотничий беркут.

[37] То есть с фамилией главы фирмы на обертке. Так назывался чай, упакованный в Кяхте, в отличие от «торгового»— местной развески, сделанной перекупщиком.

[38] Буквально: «пища-дума».

[39] Баксы — шаман, знахарь.

[40] Буквально: «качанье конского хвоста»—название одного из степных аллюров.

[41] Ак-сарбас — белый баран. При удачном исходе дела в жертву закалывали белого барана.

[42] «Петр Великий».

[43] Д а с т а н — поэма, сказание.

[44] Мера площади.

[45] Начальник Казанцев.

[46] Б а л а-т о л м а ч — мальчик переводчик.

[47] К а н д и д а т ы избирались вместе с волостными, как их заместители. Бии-долынжи — первые бии каждой волости. В случаях, когда в период между выборами волостной снимался с должности, его замещал кандидат, а если был снят и он — в управление волостью вступал до новых выборов бий-долынжи.

[48] Кокше — название рода; буквально означает: темный, скромный.

[49] Ж а й — гром.

[50] «Полноценными» назывались при тяжбах либо здоровый, крепкий конь, либо кобылица с жеребенком, либо корова с теленком.

[51] Майкы-бий— легендарный судья древности.

[52] Т а й — годовалый жеребенок.

[53] Т у з д у к — отвоеванная у противника ямка. Все шарики, находящиеся в ней, достаются занявшему ямку.

[54] Б а и т — книжные стихи с речитативным напевом; жир — тоже речитативная форма стиха-рассказа.

[55] А к-Б а л а — имя героини одного песенного состязания.

[56] С е г и з — а я к — восьмистишие, новая форма, введенная в ка «захское стихосложение Абаем.

[57] «Шокпардай кекили бар» — знаменитое стихотворение Абая о коне-бегунце. Наурызбай — герой поэмы Кокпая.

[58] К у м а й — легендарная охотничья собака.